ПЕРЛ БАК

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Биографию матери Перл Бак стала писать сразу же после смерти Кэролайн Сталтинг (Керри) в 1921 г., и первоначально она не планировала ее публиковать. Во время событий в Нанкине в 1926–1927 годах, когда дом Перл Бак подвергся разгрому, рукопись этой книги оказалась в числе немногих вещей, не украденных и не уничтоженных.

В начале 30-х годов текст был переработан. Писательница решилась его напечатать лишь в 1936 г. (под названием «Чужие края»), после того как получили известность «Земля» и другие «китайские» романы и се литературная репутация упрочилась. Работа над книгой об отце («Сражающийся ангел») также началась сразу же после его кончины в 1931 г. Ей предшествовал написанный Перл Бак некролог об Абсоломе Сайденстрикере (1852–1931), в котором содержались фактические данные о его жизни и, естественно, подчеркивались его заслуги и достоинства.

Обе книги по выходе получили достаточно высокую оценку в прессе. «Нью-Йорк тайме» так писала о «Чужих краях»: «Это одно из самых благородных эпических повествований нашего времени». Шервуд Эдди также свидетельствовал на страницах «Сэтерди ревю оф литерачур»: «Волнующее повествование о женщине прекрасной души, о ее доме и ее жизни. Это настоящая книга, отмеченная высокими литературными достоинствами, раскрывающая замечательный человеческий характер».

- ○ Перл Бак. ЧУЖИЕ КРАЯ
  - ○ I
  - ○ II
  - ○ III
- notes
  - ○ 1
  - ○ 2
  - ○ 3
  - ○ 4
  - ○ 5

Перл Бак. ЧУЖИЕ КРАЯ
Воспоминания

Перевод Ю. И. Кагарлицкого

I

Из доброй дюжины картин, которые пробегают в моей памяти, я выбираю ту, где она больше всего похожа на себя. Вот эта картина. Я вижу ее в американском садике, который она разбила в самом центре одного китайского города на реке Янцзы. Она в расцвете сил, фигура у нее крепкая, стройная, осанка привлекательная и свободная, она выпрямилась во весь рост, залитая горячим летним солнцем. Она не высокая, но и не маленькая и держится очень уверенно. У нее в руке лопаточка, которой она работала в саду, — в прекрасной, сильной руке, крепкой, загорелой руке, которую не слишком стараются держать в чистоте и на которой лежит отпечаток многих видов труда. И, тем не менее, рука правильной формы, а пальцы, вопреки ожиданиям, тонкие и нежные, особенно у ногтей.

Тропическое солнце жжет ей голову, но она держит ее высоко, без опаски, глаза не сощурены, а устремлены вперед — карие глаза газели, в золотых крапинках, и смотрят они открытым взглядом из-под густых черных бровей. В этот период ее жизни редко кто останавливался только ради того, чтобы разглядеть, насколько она хороша. Людей притягивали и не отпускали жизненная сила и энергия, исходившие от ее лица с прямым, достаточно заметным носом, с широко посаженными глазами, с подвижными, очень выразительными и не слишком тонкими губами, с маленьким, твердым, хорошо очерченным подбородком, под которым были точеные шея и плечи. Горячее солнце согревает ее волосы. Они густые, мягкие и падают кудрями на лицо. Они светло-каштановые, но когда она собирает их в пучок, то у висков и над низким широким лбом как бы реют два белых крыла, и белый цвет то и дело перебивает каштановый.

Необычной и сильной фигурой рисовалась она в этом американском садике в самом сердце китайского города. А в том, что она американка, сомневаться не приходилось, хотя чужое солнце и наложило загар на ее белую кожу. Тут же рядом стоит китаец-садовник, праздно опершись на связку бамбука. Он в синей хлопчатой рубашке, в брюках, подхваченных кушаком, а его бритую голову прикрывает широкополая бамбуковая шляпа.

Но ни связка бамбука, ни садовник не придавали ей ни капли экзотичности. Она была такая, какая есть. Да и китайцу только и было заботы, что таскать ведрами воду для поливки. Это она решила: куда лучше посадить американские левкои, васильки и шток-розы у кирпичных стен, окружающих садик. Это она ухаживала за газоном, и трава росла там мягкая и ровная,

подстриженная под деревьями, и она же разбила клумбу английских фиалок у веранды. По стенам уродливого угловатого здания миссии она высадила виргинские ползунки, и по бокам они уже разрослись сверху донизу. С одной стороны длинной веранды свисали ветви белой розы, отягощенной цветами, и если вы слишком приблизитесь к этому кусту, то она заставит вас почувствовать, что оберегает гнездо черепаховидного голубя и печется о нем так, словно сама и есть мать семейства. Однажды я видела, как она рассердилась — а такое случалось частенько, — когда садовник от нечего делать полез в гнездо за яйцами. На него вылилось столько хорошо произнесенных китайских слов, что он в изумлении попятился и скрылся с глаз долой. Затем, переполненная жалостью, она обернулась к порхавшей рядом голубке и заговорила с ней обычным своим тихим голосом.

Обласкав мать неродившихся птенцов, она подняла разоренное гнездо, осторожно поставила его на место, укрыла ветвями, а потом со скорбным видом собрала скорлупки и закопала их в землю. А как она радовалась, когда голубка положила в возвращенное ей гнездо еще четыре маленьких яйца!

— До чего славная и храбрая пташка! — воскликнула она, и глаза ее зажглись огнем.

Нарисованный образ женщины в американском садике, который она устроила в чужой стране, однако, еще даже не начало рассказа. Он не дает нам понять, почему она, американка с головы до пят, начала возделывать садик в Китае, если, конечно эту женщину вообще можно понять. Но с чего-то надо ведь начинать.

Происходила она из крепкой, хорошо устроенной, независимой голландской семьи. Ее дед был богатым купцом в голландском городе Утрехте. В то время, когда преобладал ручной труд, он считался человеком весьма состоятельным, поскольку на его фабрике трудилась сотня ремесленников, изготовлявших мебель из завозной древесины. Из этой фабрики, бесспорно, вышло немало пюпитров из красного дерева, инкрустированных столов и изделий из черного дерева.

Этот голландец, mynheer[1] Штультинг, был предан всей душой искусству и стремился к совершенству в каждой детали. Он был человек бережливый, денег на ветер не бросал и сколотил хорошее состояние. Жил он с семьей в типичном утрехтском доме — небольшом с виду, но удобном, просторном и обставленном замечательной массивной мебелью, отполированной и вычищенной до невообразимого блеска. Он с головы до ног горожанин, но у него был свой садик — квадратный участок земли позади дома, где он колдовал то над цветами, то над

луковицами тюльпанов и где сиживал по вечерам со своей длинной трубкой и стаканом вина.

По дням субботним, которые он неизменно посвящал Господу Богу, они с женой и единственным жившим в семье младшим сыном отправлялись в церковь. Им и в голову бы не пришло поступить иначе, ибо среди трехсот здешних прихожан не нашлось бы человека, для которого это было бы так важно и который бы так, всей душой, отдавался молитве. У него была короткая толстая шея и сильный голос, и в церкви он гремел, выводя свои любимые псалмы. Его сын, хрупкий, стройный юноша, подпевал ему, стоя рядом. Он был ниже ростом, не такой коренастый и всегда тщательно одет. Сбоку от него стояла его мать, большая, грузная, добродушная. Она вполголоса бормотала слова молитвы, не переставая думать об обильном воскресном обеде, который томился сейчас в фарфоровой посуде в печи на ее чисто вымытой кухне.

В это воскресное утро в церкви царило благолепие. Пастор всей душой был предан вере — высокий, худой, с гибким станом, с горящими глазами и звучным голосом. Временами ему было почти непереносимо видеть нацеленные на него глаза трехсот прихожан, которые безотказно приходили слушать его, — прекрасные, прямодушные, спокойные глаза, полные мысли, жаждущие, критичные. Эти люди прекрасно чувствовали, был он с Богом или нет, когда произносил свою проповедь. Они ждали от него настоящей духовной пищи, подлинной мысли, крепости духа. И он одарял их всем этим, не жалея себя.

Затем в Голландии наступило время, в масштабах истории достаточно короткое, религиозной нетерпимости, и ее бремя легло на плечи верующих. В следующее же воскресенье после издания эдикта, лишавшего их свободы совести, эти триста прихожан снова собрались вместе — на этот раз не для того, чтобы слушать пастора, а чтобы решить, как быть дальше. Когда их негромкий разговор окончился, стало ясно, что эти мужчины и женщины не потерпят посягательств на свою религиозную свободу. И тут mynheer Штультинг тяжело поднялся на ноги, откинул назад свою голову на толстой шее и обвел собравшихся взглядом заблестевших глубоко посаженных глаз. Его громкий голос прозвучал призывной трубой.

— Что до меня и моей семьи, — воскликнул он, — то мы по-прежнему будем служить Господу Богу. И если мы не сможем служить ему в этой стране, то покинем ее!

Он остановился и глянул вокруг себя пронзительным взглядом. Все знали, что никому из них не приходилось терять столько, сколько ему, богатому купцу! Он сделал паузу и крикнул

звонким голосом:

— Уедем отсюда! Кто со мной?

Словно огненный всполох, вскочил во весь рост седой пастор, улыбаясь в экстазе. Дюжина молодых людей тоже вскочила на ноги, губы их были крепко сжаты, глаза сверкали. Один за другим поднимались люди постарше. Им было что терять: налаженные дела, процветающие фирмы, дома и земли. За ними тут и там, бросив взгляд на того или иного вставшего на ноги юношу и застенчиво помедлив, начали подниматься молодые женщины. А после них, прижимая к груди маленьких детей, встали матери, с тревогой в глазах, испуганные, неуверенные. И вот на ногах были уже все три сотни прихожан, и, глянув на них, пастор почувствовал, как по его щекам потекли слезы, ибо в этом было торжество его царства. Он поднял руки в молитве, и внимавшие ему упали на колени, почувствовав силу его взгляда, и молитва заполнила собой церковь и укрепила их дух. Они готовы были уйти, пожертвовав всем ради Господа и свободы.

Вот какой закваски была эта американка.

* * *

Даже когда спало душевное напряжение этого дня, решимости не убавилось. Mynheer, который успел скопить немалые богатства, продал за хорошие деньги свою фабрику и передал в чужие руки все, чем владел.

Его жене было не трудней, чем ему. Она поплакала, бродя по дому, но потихоньку, отвернувшись в сторону, ибо никогда не сделала бы ничего, что могло бы отвратить ее мужа от исполнения долга, и она ни капли не сомневалась, что он лучше ее способен постичь Господню волю. Она день-деньской была занята стряпней, стиркой, уборкой и наблюдением за девочками-служанками, так что у нее не было лишнего времени для мыслей о Боге, и она оставляла их своему мужу. Кроме того, ей стоило такого труда разобрать по складам несколько стихов из Библии, что она доверяла его ежеутренним и ежевечерним чтениям из Священного Писания и горевала, что даже утром, когда она слушала эти благие слова, ум ее был попеременно занят то кофейным пудингом, то колбасой, а по вечерам, к стыду своему, она часто начинала клевать носом во время молитвы, так что мужу приходилось будить ее и поднимать с колен. Она робела всякий раз, хотя он никогда не упрекал ее, а только говорил своим глубоким добрым голосом:

Ну что, моя дорогая Гильда, очень ты устала?

— Ах, Иоанн, — всегда покаянно отвечала она, — я в самом деле хочу слышать голос Божий, но почему-то мне это не удается, скажи почему?

Легко понять, что, когда он решил тронуться в путь, у нее не возникало по этому поводу ни малейших сомнений, тем более что он ни в чем ее не ограничивал и позволил захватить с собой все дорогое ее сердцу добро — сложенные в огромные ящики перины, голубые и белые блюда, серебро и всю нужную домашнюю утварь.

Два их старших сына были уже женаты, жили своим домом, но поскольку они принадлежали к той же церкви, то тоже вынуждены были покинуть родину. С mynheer'ом Штульгингом оставался младший сын Германус, державшийся по молодости очень строго и прямолинейно. В отличие от братьев, его не отдали в торговлю, потому что он был поздний ребенок, переживший несколько других детей, и слишком хрупкого телосложения. Более того, когда он вошел в возраст, семья процветала и могла не скупиться, а молодой человек так гордился собой, так тонко воспринимал мир и был исполнен такой любви к красоте, что отец и мать предоставили ему самому выбрать себе занятие. Всему остальному он предпочел мастерство ювелира, потому что любил ощущать в руках драгоценные камни и любоваться их цветом, и еще он научился делать и чинить часы, ибо его увлекала точность и изысканность их волшебных механизмов, способных отмечать каждый миг.

Германус удивительно был не похож на своих кряжистых, расчетливых родителей. Стоя у церковной скамьи между ними или рядом со своими плотными братьями, их женами и детьми, он выглядел маленьким и хрупким, но при этом держался так гордо и независимо, что никому бы и в голову не пришло его унизить. К тому же он был образованнее других, так как настаивал, чтобы его учили очень многому. Он говорил на нескольких языках, писал музыку и стихи, замечательно рисовал и с одинаковой сноровкой обращался с карандашом, пером и чернилами. Кроме того, он был одарен превосходным голосом и тонким слухом, помогавшим ему чувствовать высоту тона. Эта его способность обнаружилась очень рано, и едва он вышел из детского возраста, ему уже доверили в церкви камертон, и он задавал тон при пении псалма.

Тонкое, пламенеющее, гордое, исполненное страстной любви к красоте естество этого молодого человека тоже воплотилось в нашей американке, ибо он был ее отцом.

* * *

Временами, к собственному своему удовольствию и к радости mynheer'а Штультинга, младший сын отправлялся в путешествие. Уезжая из дому, он любил немного покрасоваться и как-то купил себе в Амстердаме яркий жилет, а в другой раз — высокий шелковый цилиндр; ему нравилось безупречно чистое белье, и он был очень привередлив в выборе духов и в покрое своих сюртуков. Тем не менее, никогда не обманывал родительского доверия, даже в тех случаях, когда не брал с собой верного слугу, ибо его утонченность и развитое чувство самоуважения оберегали его от грубых грехов, свойственных его ровесникам.

Когда mynheer, собираясь в путь, стал подводить итог делам своей фирмы, обнаружилось, что некоторые предприниматели оставались еще ему должны, так как во многих городах розничные торговцы с удовольствием брали его отличную мебель, которая была самолично им проверена, а часто отполирована его собственными руками. В этих случаях он призывал к себе сына и говорил: «Германус, поезжай снова в Амстердам, повидай на этот раз главу торгового дома и подбей счета. Скажи ему, что я покидаю свою страну ради свободы, а это для меня и конец и начало».

Владелец торгового дома, к которому mynheer в этот раз отправил своего сына, был французом, из гугенотов, унаследовавшим состояние своего отца, и поскольку Германус бывал там и раньше, он знал его молодую дочь. В каждый новый приезд его все больше очаровывала эта крошечная темноглазая девушка, такая легонькая и хрупкая в сравнении со знакомыми ему белокурыми голландками, при том, что он и сам был невелик ростом, она была ему чуть выше плеча. Правда, обычаи их страны были так строги, что им ни разу не удалось потолковать наедине, но последние три раза они при встрече приглядывались друг к другу, глаза их говорили очень многое, и он знал, что в один прекрасный день будет сказано еще больше.

Он понимал, что это их последняя встреча. Пока он передавал поручения отца, она сидела, наклонив свою кудрявую темную головку над пяльцами, застенчивая и молчаливая, но, услышав, что он должен уехать в чужую страну, она подняла глаза, вздохнула, и он увидел, как она приложила руки к груди. Неожиданно для самого себя он почувствовал трепет в собственной груди, нечто такое, что он не посмел бы еще назвать любовью, но что разлилось в нем теплой волной и чуть не удушило его. Он понял, как ему нужна эта маленькая французская девушка. Вспыхнул, стал заикаться и, мучительно преодолевая гордость и страх, попросил у отца руки его дочери. Старик так был удивлен, что в тот же момент услал дочь из

комнаты; его темные брови поползли вверх, он заморгал округлившимися глазами, плечи задергались, и пальцы задрожали. Тем не менее, он не сказал ни да, ни нет; он знал, что отец этого молодого человека богат, и решил повременить, чтобы обо всем договориться позднее.

— Но я уезжаю из своей страны, — сказал Германус с неожиданной твердостью. — Мы должны договориться немедленно.

Однако по тому, как замигали устремленные на него острые глаза, Германус понял, что просит о невозможном, и с надменным видом вышел из дома. И хотя сердце у него бешено билось в груди, гордое лицо ничем не выдавало чувств.

На улице он, при всей своей гордости, зарыдал. Спотыкаясь, побрел по булыжной мостовой к себе в гостиницу, не разбирая дороги из-за набегавших на глаза слез. Остаться здесь еще на один день он не мог, поскольку со всеми делами было покончено. И вдруг, не веря собственным ушам, он услышал легкие, быстрые шаги у себя за спиной: это была она. Волосы ее были убраны под небольшой кружевной платок; она схватила его за руки и вылила на него целый поток слов. Неужели он уезжает? В Америку? Боже мой, так далеко! Так далеко! На глазах у нее вдруг навернулись слезы, а они, эти карие с золотыми крапинками глаза, были такие прелестные, такие по-детски доверчивые. Германус взглянул на нее с отчаянием. Этот миг словно вобрал в себя долгие месяцы нежного ухаживания. Его голландская прямолинейность пришла ему на помощь. Он без обиняков спросил: «Ты хочешь быть моей женой?»

Она метнула на него взгляд и откровенно сказала: «Хочу».

Они тут же принялись строить планы. Она была одна в доме, если не считать старика отца и домоправительницы; мать ее давно умерла, и ей не стоит труда убежать. Она может встретиться с ним через полчаса, и они сразу наймут экипаж. Да, у нее не было ни капли сомнения она давно уже решила, что, если он попросит, она будет принадлежать ему. Она поедет к его родителям и в Америку.

Германус ждал ее на тихой узкой улочке, и его лихорадило от любви, страха и чуточку от смущения; она прибежала к нему в шляпке и плаще даже раньше, чем обещала, и, к ужасу флегматичного слуги, поджидавшего его, они появились в гостинице. Задобрили его, уговорили и на следующее утро предстали перед mynheer'ом Штультингом и его женой, бледные, утомленные ночной поездкой, но твердые и непоколебимые в своем решении.

Эта сила любви и страсти тоже вошла в характер нашей

американки, ибо это были ее родители.

* * *

Утрехтской конгрегации не удалось покинуть свой город так быстро, как думали люди. Тремстам людям непросто сразу оторваться от своих корней. Кроме того, некоторые надеялись, что правительство пересмотрит свое решение. Но никакого пересмотра не последовало, и в течение года все приготовления были окончены. Хватило времени Германусу жениться на своей французской крошке и родиться их сыну, которого они назвали Корнелиусом, так что, когда пришло время отплытия, родную страну покидало уже три поколения Штультингов.

Три сотни прихожан во главе со своим пастором вышли в Атлантический океан. Они зафрахтовали судно, чтобы быть всем вместе, и прожили это время в мире и согласии, с надеждой вглядываясь в неизвестное будущее и прикидывая, чем они дальше займутся. На то, чтобы пересечь океан, потребовалось двадцать дней, и за это время восемь человек умерло от инфлюэнцы. Их похоронили в море, и пастор, чьи тонкие седые волосы развевались на резком морском ветру, читал молитву, покуда их тела погружались в морскую пучину.

Но для Германуса и его жены это было время любовных восторгов. Они мало обратили внимания на слова старого француза, который заявил, что, хотя он и прощает дочь, в дом ей возврата нет. «А как мне вернуться домой? — весело крикнула она, когда до нее дошли эти слова. — К тому же я никогда его не любила. Он жестокий старик. Ах, Эрманус!»

Германусу эти слова были тем более милы, что она неспособна была выговорить его имя, не смягчая согласные на французский манер. Он не знал в точности, куда они едут. Он всегда и во всем полагался на отца. И с ним были его любимая и его маленький сын.

* * *

На американских берегах им сначала пришлось туго. Они не были сентиментальны и размышляли сейчас больше о делах практических, о том, как жить дальше, чем о том, что побудило их искать свободы. Это пошло им на пользу, поскольку ньюйоркцы были людьми жадными и неглупыми. Когда корабль с богатыми купцами и ремесленниками прибыл в нью-йоркский

порт, его пассажиры оказались для местных легкой добычей: эти состоятельные по виду голландцы вынуждены были за малейшую услугу выкладывать золото.

Но прибывшие были крепкой породы; они переселились в Пенсильванию, где купили землю за доллары. Однако когда они перебрались туда, то обнаружили, что земля там — сплошное болото, никуда не годится и возделывать ее не имеет смысла. Им хотелось жить всем вместе, построить дома, начать трудиться и поставить собственную церковь. Некоторые были разочарованы и вернулись к привычной городской жизни. Mynheer Штультинг был не из таких. Он не покинул эту сырую тряскую землю, как не оставил своих единоверцев и призвал тех, кто готов был последовать за ним и пастором, прикупить на оставшееся золото землю на юге, чтобы не разлучаться. Их было менее трехсот, всех вместе, и более сотни из них без лишних слов последовали за ним. Землю купили в Виргинии, и они переселились туда, мрачные, с тяжелым сердцем, тоскуя по дому. Но земля, раскинувшаяся на ровных высотах между горами, на этот раз досталась им хорошая, плодородная. И все же, до чего странным и непростым оказалось для этих мужчин и женщин, выросших в богатых голландских городах и привыкших к тамошней хлопотливой, но легкой жизни, обучиться земледелию, о котором они понятия не имели даже в своей небольшой густонаселенной стране с хорошо возделанной землей. Окрест возвышались дикие горы, а земля, на которой им предстояло жить, была покрыта густыми лесами. Правда, неподалеку располагалось маленькое английское селение, но в округе, а то и прямо по их участкам шныряли индейцы. К счастью, настоящей враждебности они не выказывали, но вид у них был устрашающий.

Впрочем, наши голландцы были людьми крепкими и, обменяв, что могли, на топоры, ножи и секиры, принялись, следуя советам англичан, валить лес. Каждая семья построила себе грубую бревенчатую хижину, а сообща воздвигли еще один дом, побольше, — для церкви. В первый воскресный день в этой церкви, на рубленых скамьях, еще не очищенных от коры, эти люди собрались, чтобы воздать хвалу Господу, ради которого они пожертвовали столь многим. Немало из их числа ушло за эти первые два года, ибо тогдашние лишения оказались слишком велики как для тех, кто постарше, гак и для тех, кто был избалован городской жизнью. Оказалось, что сейчас славили Господа только люди от пятидесяти до шестидесяти лет, и во время молитвы слезы катились по их щекам. Их пастор был все еще с ними, до жалости постаревший, но по-прежнему неукротимый. На следующий год он тоже умер.

Сколько дел надо было переделать в эти первые годы! Им надо было расчистить поля и засадить их, чтобы прокормиться. Сначала срубили деревья и вывезли их с помощью лошадей и людей, шедших в одной упряжке, пни же оставались нетронутыми, пока не кончились более срочные сев и сбор урожая. Затем, когда наступила зима, большие пни вырыли, и люди и лошади, со стонами, тяжело дыша, выволокли их с полей. Их взгромоздили с одной стороны поля, и получился забор. Работа эта была адова. Вскоре среди поселенцев не осталось ни одного человека, воспитанного в городе, кроме Германуса. При его сложении он был слишком слаб для работы, требовавшей прежде всего мускульной силы, и, вопреки всему, сохранял прежнюю утонченность, чтобы не сказать щегольской вид. Он и здесь, в этой глухомани, занимался своим ремеслом, и все, у кого были часы, время от времени приносили их к нему, даже издалека.

Германус, его жена и дети жили в бревенчатом доме, примыкавшем к дому его родителей. Из неустрашимой маленькой парижанки вышла замечательная первооткрывательница. Она с улыбкой встречала любые трудности, она оставалась веселой, легкой на подъем, ловкой, практичной и пылкой, справлявшейся со всем на свете, так что дом у нее был безукоризненно чистым, а дети-погодки ухожены — три девочки, родившиеся после Корнелиуса, а потом еще один сын. После этого Господь несколько лет не давал им детей.

Эта маленькая женщина всю жизнь обожала своего мужа. Она считала его существом утонченным, слишком утонченным для этой жизни. Вот она сама — дело другое. Кто-то ведь должен стряпать, шить, заботиться о детях; женщины извечно исполняли эти обязанности, и она не должна была составлять исключения. Она трудолюбиво копалась на клочке земли, бывшим их огородом, она готова была прошагать десять миль до деревни, чтобы принести оттуда курицу-несушку и шесть свежих яиц для будущего курятника. Ее огорчало, что пруд-то был, а добыть утиных яиц было негде — во Франции утки были так хороши! Каждый день она стирала и гладила рубашку для мужа — рубашку из белого полотна, которую сама же и сшила. По утрам он вставал не раньше восьми и для него всегда была приготовлена чашка шоколада, которую он выпивал перед завтраком. Ему просто в голову не приходило, что, прежде чем он усаживался за свой кофе с бисквитами, она успевала переделать половину домашних дел. Она обожала его и восхищалась его джентльменскими манерами, его бодрым видом, его гладко выбритыми щеками и его чистой рубахой и воротничком. Во всем

поселении не было никого ему подобного.

Не в пример флегматичным голландкам маленькая француженка, можно сказать, приспособилась к этой дикой местности и научилась превращать пустыню в ухоженный французский сад. Она, где могла, собирала саженцы. Создавалось впечатление, что она просто не способна вернуться из гостей без очередного корневища, заботливо повязанного косынкой. Ее семья была досыта накормлена овощами, цыплятами и яйцами, и она уговорила соседа-англичанина уступить ей телочку при условии, что она будет обшивать его семью; так что они среди первых начали пить молоко.

Она так по-деловому и весело расправлялась с дикими зарослями, что можно было подумать, будто ей это не стоит никаких усилий. Но вот однажды она вернулась домой с картофельной делянки и тут же, с порога, бросила взгляд на ребенка, который спал в колыбельке, выточенной из бревна, — проверить, все ли в порядке. Ребенок спал, однако, к ужасу матери, поперек его лежала гремучая змея, медленно и лениво свиваясь в кольца и снова растягиваясь. Мать, теряя сознание, прислонилась к притолоке у двери. Ее быстрый ум приказал ей молча замереть. Но что, если ребенок проснется или повернется во сне? Она молча опустилась на порог и стала ждать, ослабев от страха, молясь в отчаянии. Так она и сидела, а змея лениво распрямлялась. Солнце поднималось все выше, и приближалось время, когда все вернутся домой на обед. Она продолжала молиться. Наконец змея с ленивым равнодушием начала двигаться и скользнула через край колыбели на земляной пол, а оттуда — к расщелине между двумя бревнами.

В этот момент гнев охватил бесстрашную маленькую мать. С мотыгой, которую она так и не выпускала из рук, она кинулась на змею и с воплями стала наносить ей удары.

Когда Германус вошел во двор, она со слезами на глазах лежала, обессилевшая, на земле рядом с изрубленной змеей, а ребенок уже проснулся и мирно играл. В первый раз Германус видел ее плачущей.

Следующая родилась Керри, и в этом ребенке воплотились лучшие черты его матери: житейская мудрость, веселый нрав, здравомыслие, храбрость, гибкость натуры, страстность и душевная стойкость.

Жизнь голландского поселения начала понемногу вписываться в американскую жизнь. Голландцы шли на это сознательно, по своей воле, хотя среди тех, кто был постарше, даже временами у mynheer'a Штультинга, просыпалась тоска по родине с ее уютом и спокойствием. Для него большим ударом

была кончина пастора, настигшая их спустя год, и он так и не смог найти ему замену ни в ком, кто притязал на эго место.

Труднее всего было перенести известие о том, что, буквально через полгода после того как они покинули родной дом, правительство пересмотрело свою политику и предоставило свободу совести всем гражданам. Если б у них хватило еще чуточку терпения, — не было бы всех этих трудностей, этого изнуряющего копания в земле, этих смертей. Нашлись люди, которые обвиняли mynheer'a Штультинга в излишней горячности. Он обращал на них взор, полный мольбы и смирения, глубоко огорченный своей поспешностью, и только шептал пересохшими губами: «Но ведь все это ради Бога и свободы!»

И тут его добрая жена пришла ему на помощь, выступила против обвинителей, и в молитвенном собрании в первый и последний раз услышали ее мягкий голос: «Кто же мог это предвидеть? Всепрощающий Господь знает теперь, что мы отказались от всего ради того, чтобы последовать за ним. Теперь он знает, что мы собой представляем. Мы себя оправдали. И кто из вас потерял больше моего мужа и кто из вас потерял больше, чем я, у которых был хороший дом с двенадцатью комнатами и фарфоровый камин в каждой комнате?»

Все это было правдой, и ничего больше не было сказано, пока mynheer не произнес наконец: «Возвращаться назад не имеет смысла. Нам остается только идти прежним путем. Мы должны стать частью этого нового народа. Научим наших детей языку этой страны и сами, как сумеем, ему научимся. Подчинимся ее законам, сделаемся ее гражданами и не будем отныне гражданами старой своей страны».

По этому пути они и пошли.

* * *

Mynheer мечтал, что в один прекрасный день, прежде чем умереть, он ступит на порог построенного им дома, точно такого, как в Голландии, и это, думал он, поможет ему не убиваться о прошлом. Ему хотелось этого тем больше, что он видел, как жаждет его жена жить в настоящем доме и насколько ей не по себе в грубых бревенчатых комнатах.

Земля у них была плодородная, старшие сыновья mynheer'a хорошо ее обрабатывали, и через несколько лет помимо пищи, необходимой для пропитания, у них из года в год начало оставаться еще немного денег. Леса было в изобилии, в английском поселке была небольшая лесопилка, и mynheer решил

построить дом, какой он хотел. Начертав план, он рьяно взялся за дело, сыновья помогали ему в свободное время, и он с восторгом наблюдал, как его старая добрая жена, столь терпеливо сносившая все лишения, радуется этому дому.

Они построили дом на краю поселка, прекрасный двенадцатикомнатный деревянный дом с гладкими полами, оштукатуренными и оклеенными обоями стенами, — настоящий городской дом. Дерево они брали с собственной земли, а за работу, которую не могли выполнить сами, что-то делали для других. Но строительство заняло долгое время, больше двух лет, и еще до того, как оно было окончено, наступила вторая для них зима, лютая зима в горах. Mynheer, стоявший однажды на ветру и смотревший, как идет работа, простудился и, прежде чем они поняли, как серьезно он болен, пришел его смертный час. Той же зимой его жена, потерявшая интерес к строящемуся дому, угасла и спокойно ушла из жизни.

Эти двое, прежде чем покинуть эту новую для них страну ради другого мира, еще более нового, смотрели, бывало, на лежавшую в колыбели свою внучку Керри, о чем она не помнила. Но в мозгу ее и в плоти оставался их отпечаток.

* * *

Зимой 1858 года поселенцев охватила волна разочарований. Урожай оказался плохим, и часть поселенцев решила покончить с фермерством и перебраться в город, чтобы подыскать там себе занятие. Среди них были два старших сына mynheer'a — они уехали, забрав всех домочадцев. Остались только Германус со своим семейством да недостроенный дом.

Но его первенцу, родившемуся еще в старой стране, было уже около пятнадцати лет; он был для своего возраста очень умен, обладал чувством ответственности, и с его помощью, привлекая к делу, когда удавалось, помощников со стороны, Германус достроил дом, и они в него переехали. Керри в ту пору было два года, и ее ранние воспоминания были связаны с этим новым домом и его большими, квадратными, незаставленными комнатами.

Этот просторный, величественный, прекрасный дом, измысленный некогда mynheer'ом, ее дедом, и законченный жадными до работы молодыми руками ее брата, стал частью этой американки.

* * *

С этого момента Керри все помнила сама, а не знала с чужих слов, и много лет спустя уже после того, как она переселилась в Китай, она рассказывала мне свою историю. Ей не случалось подолгу со мной беседовать. Она была слишком обременена заботами, чтобы тратить время на болтовню. Но оглядываясь на те тридцать лет, что я прожила с ней, я мало-помалу воссоздаю картину ее детства и юности, проведенных в маленьком виргинском городке, выросшем на плодородной возвышенности в горах Литтл-Левелс.

По утрам в воскресенье она обычно рассказывала мне больше, чем в будни. Воскресные дни почему-то оживляли ее воспоминания о доме. В эти дни она даже вставала с постели с иным выражением лица. В ней было меньше деловитости и больше умиротворенности. Чуть нахмуренные брови разглаживались, блестящие глаза обычно вспыхивавшие искрами и отнюдь не безмятежные, излучали спокойствие.

Воскресный завтрак в светлой миссионерской столовой протекал в общем веселье. Мне вспоминается сияющая белизной скатерть, непременная ваза с только что распустившимися цветами, горячий кофе, южный горячий хлеб, варенье, ветчина с яичницей. Желтокожий китайский мальчик услужливо сновал туда-сюда и расставлял чашки с блюдцами, а она незаметно, жестами, указывала ему, что делать. Время от времени она поглядывала на свой сад — всегда с любовью, независимо от того, был он в цвету или стоял с голыми ветками под зимним небом.

— Милый дворик, — обычно восклицала она.

Иногда во время еды она говорила: «Тихое субботнее утро всегда напоминает мне о доме. Вот бы… услышать колокольный перезвон! Я помню, как по утрам мой отец вышагивал в церковь с Библией под мышкой — прямой как стрела, а ведь ему было уже восемьдесят лет!»

Ей всегда не хватало церковных колоколов, их ясного и чистого звона, плывущего над мирными деревенскими домами. Время от времени в течение дня, а часто и среди ночи со стороны засаженной бамбуком долины, простиравшейся у подножия миссии, доносился глубокий, мрачный, однозвучный, рвущий сердце голос монастырского колокола. Она его ненавидела. Когда наконец в городе построили маленькую христианскую часовню, она тотчас же написала в свою родную деревню и убедила соотечественников собрать деньги на церковный колокол, маленький веселый колокол, отлитый в Америке, полный жизни, будоражащий своим звоном китайскую улицу и шлющий горячий привет от американцев. Я часто видела, как какой-нибудь почтенный китайский господин замирал, когда этот колокол

начинал весело трезвонить над ним, и, вытянув шею, силился разгадать, что это за чудо такое. Не было ничего более трезвонистого и ясноголосого в целом городе. Заслышав воскресным утром его голос, Керри всегда улыбалась и говорила: «Ну, разве это не прекрасно?! Послушаешь — и вроде бы опять дома».

Но чаще всего наши беседы с нею приходились на воскресные вечера. К этому часу она успевала уже дважды побывать в церкви — на утренней службе в китайской часовне и на полуденной щемящей душу молитве белых мужчин и женщин, оторванных от родных мест и собравшихся почтить Господа, каким он остался в их памяти. И там и там она играла на органе — крошечном своем органе, извлекая из него чудесные звуки. И во время каждого гимна звучало ее сильное прекрасное сопрано, поднимавшееся к самым балкам перекрытия, причем голос ее оставался ясным и полнозвучным даже тогда, когда ее тело начала истончать болезнь.

Воскресными вечерами она тоже пела, аккомпанируя себе на органе. Это был подарок Корнелиуса, самого любимого из ее братьев и сестер, который занял место отца, человека слабосильного, который не только не был опорой семьи, но и сам нуждался в заботе. Кажется, я сказала в начале, что лучше всего запомнила ее в ее американском саду? Но, думается, я так же ясно вижу ее в общей комнатке здания миссии, комнатке, которую она сделала совсем американской, — с белыми занавесками, свежими цветами на столе, обставив стол плетеными стульями и сидя с песней по воскресным вечерам у своего органа. Вокруг этого американского дома теснились мрачные, крытые черепицей китайские постройки, раздавались призывы лоточников и крики детей, брань и гомон уличной толпы, а она сидела и пела песни, уносившие нас за моря, за океаны, — «Ближе к тебе, Господи», «Мы всегда с тобою, Господи», «Иисус, возлюбленный души моей». Эти и многие другие гимны пела она — и всегда выбирала самые торжественные; и в самом деле, голос от природы был дан ей для веселья и торжества, а не для печали, и нам больше всего нравилось слушать, как она поет «Я знаю, что Спаситель мой жив» и «Возрадуйтесь, чистые сердцем». Эти гимны она любила больше всего. На закате жизни, когда она ждала смерти, она повернула голову на подушке, ее темные глаза зажглись упрямым блеском на маленьком опавшем лице, и из последних сил она промолвила: «Не пойте надо мной скорбных песен — спойте Песню Славы».

В ее ясном голосе всегда было нечто торжественное, хотя

жизнь мы вели трудную и отнюдь не тихую. По правде говоря, были времена, когда она вообще не могла петь, и в нашем доме воцарялось уныние. Зато, когда мы снова слышали ее голос, — а долго ждать она нас не заставляла, — в нашей милой, почти не обставленной общей комнате, мы переносились в деревню у Литтл-Левелс и видели глазами Керри благородную простоту жизни первых американских поселенцев.

Когда она пела, ее сердце наполнялось покоем, стихала тоска по дому, и мы, зачарованные пением, сидели с ней рядом у огня, если была зима, или на длинной веранде, выходившей в сад, летом, и в эти мгновения мало-помалу, словно она говорила с нами, мы начинали видеть ее то ребенком, то юной девушкой, то новобрачной.

Она заставляла нас перенестись мыслями в большой прелестный дом. Дом, хранивший первые ее воспоминания. Это был большой белый трехэтажный дом, говорила она, и вслед движению ее руки он представал перед нами. Под ним был глубокий холодный погреб, где стояли миски с молоком и где сбивали масло. Там же на полках лежали круглые голландские сыры и стояли бочонки с ягодами и фруктовым вином. Ягоды они собирали летом — черную смородину, малину и бузину. Время от времени она мечтательно роняла: «Летом мы всегда ходили по ягоды. Я помню красную малину, покрытую серебристой росой. Когда подавали вино, я выбирала малиновку потому, что мне чудилось, что она все еще хранила серебристый блеск свежесорванных ягод, и потому казалась вкуснее всего. Боже мой, до чего мои голые ноги были исцарапаны колючками!»

Она замолкала и улыбалась сумеркам, и, пока она молча сидела, мы видели перед собой на тропинке, прилегающей среди кустов маленькую девочку с загорелыми ногами и в панамке, защищавшей лицо от солнца.

«И что толку от этой панамки? — всегда говорила она. — Все равно я была коричневая, словно орех, и ужасно этого стеснялась, пока не родилась Грета: у нее загар был еще темнее, и теперь дразнили не меня, а ее. А она ведь была прехорошенькая, с большими, черными, как у жеребенка, глазами».

Позднее мне удалось увидеть этот дом, и он был в точности таким, каким она его описала. Он стоял в глубине большого двора, обнесенного забором, с широкими воротами, и, чтобы отпереть их, нужно было выйти из экипажа. Слева рос огромный старый сахарный клен, и под ним были приступки. Сюда она часто подводила своего коня, чтобы сесть в седло, но тогда она была уже молодой женщиной, и длинная амазонка стесняла шаг. А маленькой девочкой она просто выбегала на лужайку, схватив

лошадь за уздечку, и на ходу на нее вспрыгивала, и ее темные кудри развевались на ветру.

«Как прекрасна свобода, — размышляла она. — У меня сердце болит при мысли о здешних китайских девочках, когда я вспоминаю, как я вскакивала на лошадь и мчалась по холмам и долинам. А у них только и есть эти старые грязные буйволы, которые тащатся по дорогам!» И ее быстрые выразительные глаза окидывали огорченным взглядом теснившиеся друг к другу китайские крыши за стенами сада.

Вокруг белого дома ее детства были широкие просторы: у крыльца росли цветы, и вымощенная плитами дорожка вела к квадратной беседке, увитой виноградными лозами, а под ее прохладной сенью стояли деревянные скамейки. Беседка была прямо напротив большой белой двери, распахнутой всегда, кроме зимы, на ней — медный молоток, и над карнизом затейливое стеклянное окно. Когда я там стояла, дверь была открыта и я разглядела широкий и длинный холл, за которым виднелась лужайка с клумбами вдоль забора, усаженными флоксами, а перед ними — яблоневый сад.

Слева и справа были комнаты. Я говорю о них потому, что задолго до того, как мы их увидели, мы в точности знали, как они выглядят, и они воплощали для нас Америку. С левой стороны от входа была гостиная — прохладная темная комната, с обставленной обтянутой конскими шкурами мебелью, с книжными полками и с прелестным красного дерева столом посредине. Там стояло еще пианино, а на нем лежали скрипка и флейта. На стенах висели гравюры и превосходные рисунки карандашом и чернилами, выполненные Германусом, один или два пейзажа, а над камином висел потемневший масляный портрет mynheer'a Штультинга. Пол от стены до стены был застлан цветистым ковром, и высокие стеклянные двери вели в сад.

Слева находилась комната, которая много лет подряд служила спальней Германусу с женой, но, когда я ее видела, она перешла к его старшему сыну Корнелиусу и невестке, а Германус, стройный старый джентльмен с утонченными манерами, с поразительно блестящей седой шевелюрой, жил в соседней комнате, примыкавшей к холлу, откуда, если открыть дверь, доносилось тиканье бесчисленных ручных и огромных старых настенных часов, которые Германус в это время чинил. По утрам он минута в минуту выходил из своей комнаты в восемь, хотя его домочадцы завтракали в семь. Когда я в первый раз увидела, как он выходит из комнаты, ему было уже восемьдесят семь, но одет он был с иголочки, держался очень прямо, и его нисколько не

поредевшие волосы были тщательно зачесаны назад, открывая низкий, квадратный, совсем как у Керри, лоб. С вежливым, хотя и немного вызывающим «доброе утро», он прошествовал в столовую, находившуюся в конце холла и выходившую окнами с одной стороны в огород, а с другой — в сад. Это была холодная, просторная, длинная комната с прекрасной мебелью и овальным, отделанным искусной резьбой столом посредине.

Взглянув на этот стол, я поняла, почему Керри с таким восторгом ухватилась однажды за овальный стол в шанхайской лавке. За день до этого где-то был аукцион, объяснил немытый владелец лавки, и он купил этот стол у капитана корабля, англичанина, который сказал ему, что он был сделан английскими ремесленниками из завезенного из Индии тикового дерева. Капитан купил его в Англии и отвез на своем корабле домой, в Шанхай, но, когда его жена умерла, он распродал свои вещи; так этот стол попал в руки китайца и стоял в его пыльной лавке, изящный и полный достоинства, среди завалов ломаной ротанговой и бамбуковой мебели. Керри купила его за несколько долларов, отполировала и так привязалась к нему, что он сопровождал ее во всех ее переездах, хотя порою она жила в маленьких комнатах на верхнем этаже, в домиках, где лестницы были такими узкими, что стол приходилось поднимать на веревках и втискивать через окно, а пока он зависал над узкой китайской улицей, на ней замирало движение и удивленные рикши и владельцы тачек обращали к нему свои желтые лица… Но все годы, что я знала Керри, она сидела за этим столом, и, увидев подобный стол в столовой большого дома, я поняла, в чем тут дело. Просто она, чем могла мало-помалу старалась привязать нас к своей родной стране.

Широкая, черного дерева, с белыми перилами лестница этого дома вела к шести просторным спальням; первой справа была та, в которой спала Керри. Отсюда она смотрела на плоское, покрытое зеленым лесом пространство Литтл-Левелс, на отдаленные горы, на разбитый прямо под окнами цветник, на большой сахарный клен. Вдоль стен комнаты стояли глубокие шкафы — достаточно емкие, чтобы уместить кринолины, которые Керри носила девочкой, а под окном находился ящик для шляп, где хранились ее капоры, использовавшийся также как сиденье. В центре комнаты за расшитыми цветами муслиновыми занавесками стояла широкая, белая, прохладная кровать. На стенах, оклеенных обоями в россыпях едва заметных крошечных цветущих роз и бледно-зеленых тростниковых листьев, висели три картины — Мадонна, писанная тусклыми красками, которую Германус некогда купил во Франции, дагерротип матери Керри и

гравюра, запечатлевшая пастуха, который ведет вечером своих овец по дороге, вьющейся между холмами. И в миссии висела в раме похожая картина — репродукция, вырезанная из журнала. А над могилой своих маленьких детей она вырезала слова пастуха: «Он прижмет своих ягнят к сердцу». И по многим другим намекам мы видели, что этот дом был всегда с нею на чужой земле.

Пол ее девичьей комнаты поверх свежей соломенной циновки покрывал розовый цветистый ковер. В глубоких проемах окон были сиденья, закрытые белыми занавесками на розовых петлях. Еще там стояли два стула, выкрашенных в белый цвет, качалка и стул с прямой, сделанной из планок спинкой и тростниковым сиденьем. И еще там были туалетный столик красного дерева и бюро, а над туалетным столиком висело овальное зеркало в резной, слегка позолоченной раме. А когда-то здесь стояла еще ваза с цветами, лежали открытая книга и незаконченное шитье. Это была неописуемо прекрасная комната, простая и чистая. Я рассказываю о ней очень подробно потому, что здесь Керри жила своей жизнью, здесь она спала, здесь ей снились сны.

На третьем этаже был большой чердак, и слуховые окна выходили на ровную, заросшую буйной травой лужайку. Под крышей стояли небольшие, прочные, с покатыми краями сундуки, вывезенные из Голландии. Там же, рядом с ящиками старой одежды и тряпок, дожидающихся, когда из них сплетут подстилки, были свалены в кучу «Годис букс» и «Пирсон мэгэзин»[2]. С потолка свисали связки сушеных трав. Когда-то французская матушка научила свое семейство их собирать, чтобы придавать аромат супам и делать целебные отвары.

На этом чердаке никогда не было жарко. Он был достаточно высок и продувался холодным ветром даже летом. Тяжелые серебристые туманы обволакивали по ночам низину и держались почти до полудня, а с закатом снова начинал дуть холодный ветер с гор.

Ощутив неожиданную силу этого пронизывающего ветра, я удивилась выносливости, с которой Керри переносила китайский климат, ведь летом там стояла изнуряющая жара, а осенью к этому добавлялось зловоние. Она выросла под ярким холодным солнцем, среди чистых серебряных американских туманов, и не приходится удивляться тому, что в августе она среди дня падала в обморок в этом южном китайском городе, знойном и наполненном испарениями человеческих тел и запахами человеческого дыхания.

Но ясно и то, что эта открытая долина, с ее быстролетными туманами, резкими ветрами и сияющим солнцем, придала ей в юности силу и выносливость. Здесь было где побегать вволю; в

доме были животные, о которых нужно было заботиться и которых можно было ласкать; коровы на скотном дворе, волоокие, привязчивые, послушные; воздающие добром за добро верховые лошади, которых можно было кормить сахаром и яблоками; цыплята и индюшки, кучами пасшиеся на стернях, откуда только что был убран урожай и где теперь, словно специально для них, прыгали кузнечики. Дом с целой ватагой детей был полон жизни, и в нем были хлопотливая, весело щебечущая маленькая мама, утонченный отец, серьезный, добрый старший брат. Все были при деле, все были счастливы, а вечерами все собирались помузицировать; кто играл на скрипке, кто на флейте, кто на пианино и хором пели песни.

Однажды я спросила Керри: «Что тебе больше всего запомнилось из раннего детства?»

Ее глаза мягко блеснули, потом снова вспыхнули. «Однажды, когда мне было три года, я захотела помочь моей маленькой маме, которая мыла посуду. Я подняла со стола большое, расписанное кобальтом блюдо для мяса. Дедушка привез его еще из Голландии. Я медленно и осторожно понесла его в буфетную, но оно оказалось таким большим, что я не видела пола. Одна доска немного выступала, я была босиком, ударилась большим пальцем и упала — эдакая толстушка — прямо на блюдо, и оно разлетелось на куски. Я помню, отец тут же на месте выпорол меня и я страшно плакала — не потому, что мне было больно, а потому, что я ведь просто хотела помочь. Я и сегодня считаю, что меня выпороли ни за что. Даже сейчас, когда мне пятьдесят лет, я чувствую обиду». Во время этого разговора она раскатывала на столе большой, мягкий, пористый кусок теста. В Китае Керри по-прежнему пекла собственный хлеб, и у нее из-под рук выходили большие коричневые сладкие караваи и хрустящие булочки, что пекут в южных штатах. Окно было открыто, и с улицы доносился звук цимбал; шла какая-то процессия, и в бренчание цимбал врывался тонкий, печальный голос флейты. От нечего делать я вышла посмотреть, что там такое, и увидела, как проносят какого-то идола, причем и процессия была не слишком большая, и идол, глиняная фигурка в хлопчатых лохмотьях, вроде был собой невелик и не очень твердо держался в своем паланкине. Впереди паланкина плелся обтрепанный жрец с цимбалами, а за паланкином шли еще два жреца. Один дул в флейту, а другой нес деревянный барабан в форме рыбьей головы и время от времени, подумав, ударял по нему деревянным молотком. Прохожие почти не реагировали на это шествие, зато сзади, не отставая, бежала ватага назойливо-любопытных мальчишек.

Керри месила тесто, но была словно бы за десять тысяч миль

отсюда. Потом сказала: «А все-таки мы счастливо жили в этом доме. Насколько я помню — не подумай только, что на такие мысли меня навела эта безумная флейта, — дом у нас был заполнен музыкой. Все, кто постарше, на чем-нибудь играли, а мы, дети, пели. Корнелиус был хорошим учителем пения. Позже, в семинарии, где у меня была лучшая из лучших учительниц музыки, я узнала не так уж много нового. Корнелиус уже поставил мне голос и научил им управлять. Мы обычно пели «Мессию».

Как хорошо я все это помню!»

И, подняв руки от стола, она выпрямилась и запела «Аллилуйю» полнозвучным и трепетным голосом. Уставившийся на нее повар-китаец уронил сковородку, которую держал в руках, после чего с прежним старанием вернулся к делу, так ничего не поняв, но привыкнув к тому, что она вдруг ни с того ни с сего начинала петь. Звук цимбал потонул в городском шуме, и, глянув на нее, я вдруг увидела ее стоящей на клиросе белой американской церкви, построенной на месте старого бревенчатого здания. Когда много лет спустя мне довелось там побывать, к распахнутым окнам церкви льнули цветущие яблоневые ветки, наполняя ее своим ароматом. В тот день в хоре пела молоденькая дочка Корнелиуса, и опять звучала «Аллилуйя», но в этом голосе не было силы и полноты, отличавших голос жительницы южного китайского города.

Керри вдруг замолчала. В кухне словно еще витали отзвуки ее голоса, но она уже снова занялась своим тестом. «Да, — сказала она, чуть помедлив, — счастливая была жизнь до гражданской войны. Что это было за время!»

* * *

И в самом деле, что это было за время! Когда разразилась война, семейство Штультингов оказалось в той части Виргинии, которая приняла сторону северян и стала называться Западной Виргинией. К этому времени Германус был не так молод. В свои сорок он был хрупким, стройным, не утратившим гибкости, и его волосы спадали серебристой волной на красиво очерченное лицо. По его француженке-жене, напротив, было заметно, что ношу она взвалила на себя непосильную. Она высохла, стала совсем маленькой и отмечена уже была следами туберкулеза, который позже свел ее в могилу. Корнелиусу было двадцать, темноглазый и темноволосый, он выглядел много старше своих лет, был терпелив, очень умен, обладал прекрасными манерами, был

страстным книгочеем и музыкантом. Но заниматься ему пришлось землей, и он принял как должное, что ответственность за семью лежит скорее на нем, чем на отце. Несомненно, Германус обладал какой-то странной магией. Хотя он никогда не принимал участия в том, что составляло трудности жизни, и его привычка к роскоши очень рано легла бременем на старших детей, домочадцы обожали его и совместными усилиями давали ему возможность по-прежнему чувствовать себя горожанином хорошего круга. Разве приходило когда-нибудь в голову Корнелиусу, когда он спозаранку натягивал на себя свою тугую рабочую одежду, что отец его спит и будет спать еще часа три, пока они все не позавтракают, да и тогда ему принесут в комнату шоколад, чтобы он выпил его, прежде чем одеться. Однажды я спросила об этом Керри, и она мне сказала: «Должно быть, он тогда восполнял недостаток чего-то в нашей жизни. Мы все любили красивые и изящные вещи, а из них мало что осталось после войны. Никто из нас никогда не ставил под сомнение поступки отца. Мы знали от матери, что у него недостаточно сил для трудной работы и что ее нельзя с него спрашивать. Его делом были пчелы, и он обрезал виноград и кусты роз. Он замечательно управлялся с пчелами, у нас всегда был прекрасный мед. Я думаю, они его ни разу в жизни не ужалили. Он добывал мед искуснейшим образом, и ни у кого больше не было таких умелых и ловких рук. И от его глаз не ускользали мельчайшие приметы красоты. У амбара рос белый виноград, и я как сейчас помню большие белые гроздья, проглядывавшие сквозь смоченные росой зеленые листья. Прежде чем их срезать, он обязательно водил нас посмотреть на них. Он говорил, что они прекрасны, как лунные агаты. Я думаю, мы потому и любили его — он помогал нам видеть красоту.

Да, конечно, опорой семьи был Корнелиус. Я знаю точно, что именно он с матерью занимались счетами и решали, как лучше распорядиться деньгами. Сколько я себя помню, я всегда обращалась к нему, если мне было что-нибудь нужно. В результате, пока мы были маленькими, он не мог жениться. Помнится, он тогда даже не глядел не девушек. И женился только через много лег после войны, когда мы все выросли.

Но отец тоже что-то для нас значил. Мы, в отличие от окружающих, не были обычными фермерами. У нас всегда были и книги, и музыка, и отцовские картины, и его ювелирные изделия. Благодаря отцу мы отличались от других. Я помню, как я гордилась тем, что отец ходит в черном сюртуке и каждый день надевает свежую белую рубашку, тогда как соседи наши ходят все в том же. Много лет прошло, прежде чем я поняла, что в этих

разговорах о белых воротничках было нечто оскорбительное. Кто-то ведь — сначала мать, пока у нее хватало сил, а потом кто-нибудь из старших девочек вынужден был каждый день стирать и гладить эти рубашки и воротнички, сколько бы у них ни накопилось хлопот — то нужно было готовить маринады, то масло сбивать.

Когда разразилась война, мы страшно забеспокоитесь, что будет, если Корнелиуса призовут в армию. Сам он твердо решил не идти добровольцем. Германус внушил всем нам ужас перед рабством, и хотя многие соседи, что побогаче, имели рабов, он никогда их не покупал. Унаследованная от предков приверженность свободе, растворенная у него в самой крови, восставала против того, чтобы купить человека и подчинить его своей воле. Если ему и приходилось нанимать негров, то он по-честному платил им деньгами, и никогда не пытался сделать их своей собственностью. Дети настолько заразились его страстью к свободе, что ничто не могло заставить их и Корнелиуса сражаться на стороне южан. Но в то же время они считали Юг своей родиной, а это делало невозможной для них самую мысль о борьбе против Виргинии. Нейтралитет, достаточно проблематичный и в лучшие времена, был для них теперь единственно приемлемой позицией, и Германус с Корнелиусом заявили, что они ни за кого. Подобные слова не могли прибавить им популярности в те горячие времена, но Германус просто не обращал на это внимания. По складу характера он всегда предпочитал оппозицию, и, как я слышала в это время, он был преданным и сверх меры прямолинейным сторонником церкви и сочинял несколько вольные мотивы для псалмов. О нем негодующе шептались, главным образом рабовладельцы, но его честность, бесстрашие и высокомерие так были всем известны, что в открытую никто против него не шел.

Однако Корнелиусу, человеку молодому, пришлось несладко. Когда к нему обратились с призывом занять чью-то сторону, он ответил, что не может оставить без присмотра мать и маленьких брата и сестер — им без него не прожить, и без него они пропадут. Он терпеливо сносил насмешки соседей по деревне и упрямо занимался хозяйством.

Между тем время шло, и ряды южан все редели, и ему пора было подумать, как избежать принуждения. Сперва не верилось, что его могут силком затащить в армию. Но так случилось. Однажды, забежав в полдень домой, он увидел у дверей одетых в серую форму южан; у них был ласковый голос, но твердый взгляд. Они вошли за ним в дом, и один из них сказал:

— Пойми, тебе придется идти воевать, сынок, хочешь ты того

или нет. Нам нужны люди.

— Тогда вам придется взять меня силой, — только и сказал, глядя на них, Корнелиус.

— Ну, силой, так силой, — сказал солдат и повернулся к своим подчиненным. — Вяжите его — и на лошадь.

Трое остальных, подойдя вплотную, связали ему запястья и кинули на круп лошади. Его маленькая матушка собирала в это время в саду стручки фасоли, но крики детей заставили ее выйти к дому, и она тотчас все поняла. Она кинулась к сыну и повисла на его ноге.

— Вы должны его отпустить, он кормилец семьи, — крикнула она, задыхаясь.

Солдат прикоснулся к фуражке:

— Простите, мадам, — приказ.

— Нет, нет, нет, — вы должны отпустить его, он мой сын!

— Вперед, марш! — коротко сказал солдат, они вскочили на лошадей и выстроились в ряд, а маленькая женщина кинулась бежать, не отпуская ногу сына. Он в тревоге нагнулся к ней и шепнул:

— Я сумею вернуться, мать. Перестань. Тебе с ними не сладить. Я дезертирую…

— И тебя за это расстреляют! — с горячностью шепнула она. Нет, я не позволю тебе уйти.

Лошади пустились в легкий галоп, она побежала быстрее, и под конец ее уже почти волочили по земле, но она не уступала. Солдат, возглавлявший команду, не выдержал. Он остановился и принялся ее уговаривать:

— Мадам, что толку в этом? Он должен идти. Таков приказ. Мне очень жаль, мадам, но у всех сыновья должны воевать.

— Только не мой! — с решимостью выдохнула она. Ее панамка болталась где-то за спиной, седые кудри растрепались и обрамляли ее маленькое худое лицо. В ее глазах была страшная усталость, в горле что-то клокотало, и из груди вырывались тяжелые стоны.

— Если его не станет, меня тоже не будет. Да и к тому же мы не верим в рабство. Разве наша страна не за свободу? За что ему сражаться? За то, во что мы не верим?

Солдат глянул на нее. Затем он снова отдал приказ, на этот раз без прежней убежденности: «Вперед, марш!»

Снова лошади пустились вскачь, и он старался не смотреть на эту маленькую, одетую в коричневое платье, запыхавшуюся женщину, то бежавшую вприпрыжку, то висевшую над неровной дорогой, уцепившись за ногу сына.

Она хватала ртом воздух, и ее карие глаза, устремленные

вперед, полны были страдания. Сын наклонился над ней, с плачем приговаривая: «Мама, мама, мама».

Это было уж слишком. Солдат заставил ее бежать так примерно милю, а затем остановился, спешился, снял фуражку и поклонился.

— Мадам, ваша взяла. Он ваш. — После чего сказал своим людям: — Развяжите его, и пусть идет.

Через минуту мать и сын стояли вдвоем на дороге, а лошади уносились прочь, одна из них без седока. Корнелиус взглянул на свою мать с невыразимой нежностью, а она, вспыхнув, начала дрожащими руками прибирать волосы. Потом, почувствовав дурноту, она прислонилась к нему и прошептала пересохшими губами: «Я уже не могла больше».

Но это было для них хорошим уроком на будущее. Другой офицер мог оказаться не таким снисходительным. Корнелиуса надо было спрятать. Этой же ночью он покинул дом на коне, прихватив с собой свернутую постель и корзинку еды, и поскакал в дальние горы, Друп-Маунтен, как их называли, где в небольшой, подобной чаше долине пустовала разрушенная хижина, а при ней был заброшенный лужок или два.

Здесь молодой человек и прожил два года, пока шла война. Землю он вскопал, засадил фасолью, пшеницей и рожью и, когда созревал урожай, прокрадывался по ночам домой, чтобы принести зерно, увидеться с матерью и взять, что нужно. Литтл-Левелс был опустошен то наступавшими, то отступавшими северными и южными армиями, поля вытоптаны, амбары и склады разграблены, и то немногое, что приносил Корнелиус, поддерживало семью и очень часто было единственным их пропитанием. Я намеренно опускаю из этого периода жизни Керри все, что можно найти в любой книге о гражданской войне. Я записываю только то, что я, американская девочка, чужая в этом китайском городе, никогда не видевшая своей страны, узнала от Керри, завороженно ее, слушая и глядя ее глазами на далекую Америку.

Что такое война — я знала отлично. В это время мы, белые, жившие в Китае, существовали в полной неопределенности, целиком завися от спадов и взлетов Боксерского восстания[3]. Ночью моя одежда всегда лежала рядом, чтобы я могла мгновенно одеться, если мне скажут, что надо бежать. Керри показала мне, как удобнее ее положить, как быстро зашнуровать башмаки, как сподручней схватить с полу шляпку — на случай, если придется идти днем под жгучим восточным солнцем. Я должна была уметь проделать все это сама, потому что в доме был еще один ребенок, младше меня, который не мог

позаботиться о себе. Для него и днем и ночью была наготове корзинка со сгущенным молоком. Она стояла у дверей, чтобы можно было схватить ее на ходу. Керри до мелочей все заранее продумала, всегда ко всему готовая, бесстрашная, не позволявшая никому из нас раскисать. Мы знали, что она о нас позаботится.

Смелость была у нее в крови, но, кроме того, ее многому научила гражданская война, опалившая ее своим огнем в раннем детстве. И вот длинным, жарким летом 1900 года мы упрашивали ее: «Расскажи нам что-нибудь о нашей, об американской войне». И она рассказывала, что запомнила маленькой девочкой в те волнующие дни, когда она жила в горах Западной Виргинии, разделявших Север и Юг, там, где столкнулись две армии, попеременно то побеждая, то терпя поражение. Впоследствии, когда я стала изучать этот период истории, я уже многое знала от нее, и знания мои были обогащены такими живыми и колоритными подробностями, каких не сыщешь ни в одной книге.

Благодаря ей я уловила самую суть этих грандиозных событий; и в той и в другой армии поначалу царили дух веселости и уверенность в себе, сменявшиеся после изнуряющих сражений недоумением и горечью, а под конец — отчаяньем и жаждой мести. Но страшнее всего были опустошавшие всю округу, вытаптывавшие плодородные поля ликующие победители, неважно с какой стороны.

Однажды ее глаза сделались суровыми от воспоминаний и она нам рассказала: «Янки, бывало, пугали нас, что Шерман решил проложить такую прямую, широкую и утоптанную дорогу в Джорджию, что ворона не найдет там ни зернышка. И, мне кажется, он так и поступил». И еще она сказала, нисколько это не подчеркивая: «По словам Шермана, война — это ад. Что ж, к тому времени он наверняка уже знал, так это или нет. Он пробыл у нас немало лет».

В другой раз она заметила: «Конечно, никто из нашей семьи не был сторонником рабства. Не больше, чем сам Линкольн. Мы были американцами и не могли не понимать, что это такое — рабство. Но сразу отпускать всех рабов тоже было не дело. После войны мы боялись нос высунуть из дому, и это при том, что в наших местах было не слишком-то много негров. Помнится, моему брату Корнелиусу пришлось даже на время вступить в Ку-Клукс-Клан, а то освобожденные негры не оставили бы нас в покое».

А как-то она начала вдруг смеяться и смеялась до тех нор, пока слезы не выступили у нее на глазах.

— Я никогда не забуду, как однажды утром янки расположились на ночь в нашем саду. Дело было зимой, деревья

стояли голые. Я вышла посмотреть на этих людей из-за амбара, потому что всякое о них слышала: — в наших краях говорили, что у них рога, как у чертей. И когда я оказалась во дворе, то увидела на деревьях какие-то странные плоды. Я в толк не могла взять, что это такое, подошла поближе и увидела, что это куски хлеба. Солдат кормили хлебом из муки грубого помола, они отказывались его есть и забавы ради швыряли его на деревья: закидали им все ветки. Ну и потешный у наших деревьев был вид! Птицы не один месяц питались этим хлебом.

— А у них в самом деле были рога? — спросила я, затаив дыхание.

— Нет, не было, — заявила она, и глаза ее блеснули. — Люди как люди. Мне даже неинтересно стало.

И еще была одна любимая наша история, и мы просили Керри повторять ее снова и снова.

Однажды Германус узнал, что янки на подходе. Случилось так, что как раз в это время у него на руках были превосходные старинные драгоценности, которые некто из местных богатых помещиков отдал ему в починку. Он испугался, что их украдут, а цена им была такая, что нам бы век не расплатиться. Поэтому он решил их припрятать, уложил в маленькую закрытую коробочку, отнес на прилегавшую к саду лужайку и засунул под большой плоский камень. Среди дня действительно заявились янки и, к его ужасу, разбили лагерь на этой самой лужайке. Они то сидели на этом камне, то пользовались им как столом, а к ночи разбили над ним палатку. Германус наблюдал за ними. До самой темноты он не отходил от окна, стараясь проследить, не нагнулся ли кто-нибудь и не заглянул ли под камень. Пока были сумерки, все обошлось. Когда стемнело, зажгли большие факелы, но свет от них был таким неверным, что нельзя было ничего разобрать.

Всю ночь Германус с молитвой ходил по дому, наказав остальным молиться, коря себя, что не вернул драгоценности владельцу, и теряясь в догадках, что делать, если они пропадут, тем более что их владелец был человек гордый, по общему мнению, жесткий и взыскательный, а драгоценности были фамильные, невосполнимые. С рассветом солдаты двинулись дальше, и Германус выскочил из дома, полный тревоги. Он заглянул под камень. Коробочка с драгоценностями лежала себе на месте, никем не замеченная. Услышав счастливый конец этой истории, которую Керри, с ее живой мимикой, так занимательно пересказала, мы с облегчением вздохнули. Обычно она рассказывала свои истории по вечерам, когда мы в конце дня рассаживались в беседке и смотрели на рисовые поля, соломенные крыши крестьянских домов в долине, на изящную

пагоду вдали, которая, казалось, висела среди бамбука на склоне дальнего холма. Но мы словно бы видели другое. У нас перед глазами вставали неровные поля и изрезанные уступами горы нашей родной страны, по которым скакали с развернутыми знаменами всадники в голубой и серой форме.

Затем настал ужасный день битвы между северянами и южанами у Горбатой Горы, и с утра до ночи с обеих сторон грохотали пушки, причем перестрелка велась через гору, и все семейство замерло в страхе, едва способное молиться, опасаясь, что Корнелиуса схватят в его убежище. Но перед рассветом он приплелся домой — в изодранной одежде и с до крови исцарапанными руками и ногами. Весь день он прятался в пещере, а под покровом темноты кинулся бежать с крутого, скалистого склона горы. Он был жив-здоров, но его маленькое поле, вспаханное под посев, было все изрыто снарядами.

Наступил день, когда в семье из съестного только и осталось, что кварта сушеных бобов, и в этот самый день к нам нагрянула компания отчаявшихся дезертиров-южан, ободранных, босых, помирающих от голода. Поглядев на них, матушка сварила все бобы, и каждый получил полную миску бобовой похлебки, а дети пошли собирать одуванчики на ужин.

Вот такие и подобные ей истории она рассказывала нам жаркими летними днями на окраине китайского города. Все вокруг ненавидели нас за то, что мы были иностранцами, но я этого не осознавала. Слушая ее, я представляла мою собственную страну и героизм своего народа, и это придавало мне силы. Она не была напугана. Еще маленькой девочкой она научилась, видя раненых, истекающих кровью, не падать при этом в обморок, сносить голод и не страшиться его, находить выход в безвыходном положении, и все это было овеяно высоким духом той славной эпохи.

Ей было восемь лет, когда закончилась гражданская война, и ее семья, как и все остальные в округе, должна была приспосабливаться к новым условиям. Поражение было признано, и все лихорадочно спешили начать новую жизнь. Эти четыре года школы не работали. Керри сама научилась читать, спрашивая, что значит та или иная буква. Но, кроме чтения, она не научилась ничему. Ее сестренка, еще моложе ее, не умела даже читать.

В таком положении оказалось еще много других детей, потому что потерявшим голову родителям было не до них — отцы отчаянно сражались, матери выполняли работу на ферме, вели все дела и пытались быть и матерью и отсутствующим отцом одновременно. Теперь все гадали, как бы завести школу и возместить потерянные военные годы.

Корнелиус, огорченный невежеством своего брата и сестер, был первым, кто организовал в городе школу. Сам и преподавал, а на ферме работал ранним утром и по вечерам, когда возвращался домой. Школа помещалась в одной комнате, в церкви, но вскоре переехала в собственное здание, и со временем ее начали называть академией.

Для Керри открылись ворота в жизнь. Эти два года, да и потом, она рвалась к учению, которое должно было помочь ей понять манящий ее своими тайнами мир. Она была немного странным ребенком, с богатым воображением, страстным и чувствительным до такой степени, что это не раз заставляло ее страдать. В ней удивительным образом соединялись невероятная практичность и глубокий мистицизм. Она любила лежать ночью под звездами на лужайке перед их белым домом, чувствуя, как густая трава касается ее голых ног, и, вглядываясь в небо, думать о звездах и о том, какие они, и мучительно стараться проникнуть в глубины Вселенной. Звезды всегда зачаровывали ее. Я помню, как в жаркие летние китайские ночи она смотрела, высунувшись из окна над шумной улицей, на плотные золотистые звезды, зависшие в темно-красном пурпуре небес, и говорила: «Просто не верится, что это те самые звезды, которые я девочкой видела, лежа на лужайке. Они казались тогда холодными и серебристыми, далекими-далекими и почти нереальными. Здесь они выглядят вполне материальными, ощутимыми, слишком близкими. Я воображала, что на них живут люди прозрачные, тонкие, сказочные. Но жители здешних звезд должны быть злобными и коварными. Взгляни-ка на этот красный Орион, что над крышей пагоды!»

В деревенской школе она впервые начала изучать астрономию, свой любимый предмет, хотя ей немного досаждала математика. У нее было живое воображение, и она зримо представляла себе любой отвлеченный факт. Корнелиус был прирожденным учителем, а она оказалась способной ученицей, обладавшей не столько памятью, сколько восприимчивостью и быстрым умом, гак что они были не только братом и сестрой, но и любимой ученицей и глубоко уважаемым учителем.

Послевоенный период в жизни этого маленького западновиргинского городка был отмечен глубиной и пылкостью людских душ в сочетании с вынужденным аскетическим образом жизни. Этим воздухом Керри дышала в юности, и влияние той поры ощущалось в каждом порыве ее чувствительной, приверженной красоте души. Но зато эти скудные годы очень многому ее научили, чему она, умевшая мыслить широко, радовалась. Я помню, среди прочего и такие ее слова: «Я делала

любую необходимую работу, и делала ее с удовольствием. После войны у нас какое-то время не было лавок и ничего нельзя было купить. Вот мы и выращивали свой лен, пряли и ткали простыни, скатерти и белье. Мы сами красили хлопковое полотно, шили из него платья. Я узнала, какие цвета получаются из различных трав, древесной коры и всевозможных кореньев. Иногда ничего не получалось, и тогда мы ходили в чем попало. Мы стригли овец, мыли и трепали шерсть, сучили и пряли. Я рада, что умею делать все на свете».

Им приходилось изготавливать даже обручи для кринолинов, употребляя в дело длинные сассапариловые лозы[4]. Они держались, пока не пересыхали и не начинали трескаться. Помнится, я часто просила ее рассказать одну историю, и она никогда мне не отказывала, при этом глаза ее всякий раз зажигались весельем.

«Как у меня лопнул обруч? Так вот, однажды в воскресенье мы пошли в церковь; само собой, мы ходили в церковь каждое воскресенье, но на этот раз там выступал миссионер. Наша церквушка была полным-полна, и я сидела рядом с милой миссис Данлоп, женой миссионера. Она была просто прелесть, и я ее очень любила. Но она была очень дородной, и мне рядом с ней было слишком тесно, словно она становилась все шире и шире. Да еще день выдался очень жаркий. Так вот, она все расползалась и давила на мой обруч — а он был не слишком большой, честное слово, потому что отец запрещал нам носить слишком широкие кринолины, — до тех пор, пока он не поднялся так, что юбка у меня неприлично задралась, и как я ни пыталась ее опустить, ничего не получалось. В конце концов я пришла в совершенное отчаяние, потому что слышала, как сидевший сзади мальчик начал хихикать, и тут я изо всех сил дернула юбку. Раздался громкий треск. Это был мой обруч. Юбка моя разом опустилась, но посмотрели бы вы на меня, когда я встала на ноги! Юбка свешивалась до пола и волочилась по земле. Добрая миссис Данлоп заслонила меня, и, прячась за нее, я выбралась из церкви. Мы потом часто хохотали над этой историей, но в тот день мне было ужасно стыдно, хотя я тоже не могла удержаться от смеха. Я знала, что выглядела смешно. Отец сказал, что это была кара за мое тщеславие. Может быть, это и так, но мне-то было известно, что причина крылась в слишком сухой лозе, которая не выдержала мощного напора миссис Данлоп».

* * *

Из всех занимательных историй ее жизни на нас, маленьких американцев, живущих в китайском городе, самое большое впечатление произвел рассказ о кленовом сахаре. Ведь в их доме все, кроме шоколада, который Германус получал по утрам, чая и кофе, делалось после войны собственными руками, а не покупалось в лавке.

Вплоть до этого дня я не знала, как добывают кленовый сироп, и не видела дерева, которое надрезают, чтобы его получить, хотя слухи о нем до меня доходили. Я слышала о нем и в этой восточной стране, где сахарный клен существует только в мечтах. Но я знаю, что в ранние весенние дни, когда весна еще только надежда, а не реальность, надо пойти к большим, все еще по-осеннему золотистым деревьям, сделать маленькое отверстие, вогнать туда деревянную трубку, которая называется втулкой, и поставить снизу ведерко, куда будет стекать сладкий сок. Когда все ведерки полны и соку набралось сколько надо, вы выливаете ведра в большой железный котел и относите его в сахароварню. Мальчикам остается наколоть щепок, потом котел вешают на толстый крюк, разжигают огонь, и вода начинает кипеть.

Теперь наступает самое веселье, ибо все местные мальчишки и девчонки собираются в сахароварне, смотрят, как делают сахар, помешивают его, подкладывают поленья под котел, и, если, как полагается в эту пору, идет снег, между делом со смехом катаются с горы. Щеки у всех горят, глаза блестят, всюду царит веселье.

Когда сироп достаточно загустеет, его переливают в большие бочонки и целый год кладут в гречишники, вафли и оладьи, но если вы хотите получить настоящий сахар, сок следует кипятить еще дольше, и надо иметь немалый опыт, чтобы точно знать, в какой именно момент следует перелить горячий сироп в маленькие и большие формы. Из больших круглых форм выходили основательные головы сахара, которые использовались в хозяйстве на протяжении года, но для сиропа имелась еще уйма маленьких жестянок в форме сердца, звездочек или полумесяца. Самой восхитительной забавой было вылить горячий сахар в снег и, пока он не остыл, запихивать сладкий тающий снег в рот. Когда же приготовление сахара подходило к концу, все расходились по домам с песнями, звучно разносившимися в свежем воздухе, и никто никогда не заболевал, хотя ел сколько захочется. Дело в том, что в лесу, где стояла сахароварня, было очень чисто, и снег, покрывавший землю, был без единого пятнышка, а пронизывающий ветер кого угодно сделал бы закаленным и крепким, способным вынести все что угодно. Ах, Керри, ты будила в нас мечты о нашей стране!

Снег! Каким-то образом она помогла нам точно наяву увидеть американский снег. Время от времени, редко, конечно, нам удавалось ощутить дуновение снежного ветерка в нашем южном китайском городе, но это случалось только в холодные, сырые, ветреные дни. Мы прижимались лицами к окнам и смотрели, как с серого неба падает белый снег и сразу же тает, прикасаясь к теплым черным черепичным крышам. Помню, однажды ветром нанесло в угол двора тонкий, словно туман, слой снега. Но все же снег! Мы вприпрыжку выскочили из двери с криком: «Снег, снег!» В одну неожиданно холодную зиму за стенами города выпал настоящий снег, а на заброшенном кладбище он был по меньшей мере в дюйм глубиной, и, если не приглядываться к торчавшим сквозь него стебелькам, мир казался белым и чистым. Бамбук был в плюмаже из грязного снега, и маленькие свежие зеленые стебельки озимой пшеницы выступали как бы среди белых надгробий. Керри скрепила гвоздями доски от ящика из-под сгущенного молока, привязала к ним сплетенную из травы веревку, и мы принялись кататься на этих самоделках с крутых китайских могил, воображая, что мы в Америке.

Годы спустя, когда передо мной лежал настоящий снег в виргинских лесах в Блу-Маунтене, я поняла, что и раньше, своим духовным зрением, видела его благодаря рассказам этой американки. Я увидела поля, спрятанные под снегом, застывшие и уснувшие Я увидела крыши под снежным покровом, выглядывавшие из-под них окна, несущие в себе уют и веселье, и дым, вьющийся в неподвижном небе. Все было в точности гак, как она рассказывала. Прежде чем я свернула на дорогу, что вела к холмам, сердце уже подсказало мне, что тени с подветренной стороны должны быть синими: и действительно, за поворотом я увидела синие тени. За десять лет до того и за десять тысяч миль от этого места она мне все объяснила, и я знала это заранее.

Всю красоту своей страны она впитывала с раннего детства. Отец одарил ее способностью видеть красоту, но она не нуждалась в особых подсказках, потому что глаза у нее были открыты миру. Она чутко реагировала на красоту бескрайних лугов, долин и гор, она находила свое очарование в каждом времени года. В ней все находило отклик; она умела различать самые малые приметы красоты в лишайнике, в цветочках, в насекомых. Однажды она наклонилась над паучком, расцвеченным в красные и черны тона, и под конец потрогала его мизинцем, чтобы лучше ощутить цвет, паук же укусил ее, и от его яда у нее распухла рука. После этого она только смотрела, не трогала, но чувство справедливости было так в ней сильно, что она помнила, как сама же спровоцировала насекомое, и его

красота не поблекла для нее, даже когда оно причинило ей вред.

Любовь к красоте, мгновенная способность на нее откликаться была ее плотью и кровью, она буквально в ней растворялась. В весенний день она способна была опьянеть от веселого солнышка, заливавшего лужайку, смеяться, вся искриться весельем — только что не плясать. Но она так же ценила красоту обыденных, привычных вещей. Красота существовала для нее не только в искрящемся лунным светом горном озере, но и в спокойном уюте чистой и свежей комнаты, в намытой до блеска посуде. Помню, она рассказывала об одной из своих немногих радостей в суровые послевоенные годы. Поскольку новую посуду купить было невозможно, они каждодневно пользовались белым с кобальтом китайским фарфором и тонкими хрустальными бокалами, которые ее дедушка с бабушкой привезли из Голландии. Сколько бы у нее ни было работы по дому, она старалась сама вымыть их, чтобы собственными руками ощутить их изысканность. Это каждодневное невольное ощущение праздничности она сохранила в памяти на всю жизнь.

Керри была чувственным существом. Она любила ощущать вещи чувствовать фактуру шелка, фарфора, полотна и бархата, прикасаться к листьям розы, к грубым еловым шишкам. Я помню, как она брала в руки сухие, гладкие на ощупь листья бамбука и растирала их. «Какие твердые и гладкие, какие красивые», — бормотала она. У нее было необычно острое обоняние. Одним из мучений ее жизни на Востоке было постоянное зловоние, проникающее в сад из-за городских стен, где вывозимые по ночам нечистоты и отбросы были главным удобрением, позволявшим потом получить богатый и скорый урожай.

Я навсегда запомнила, как она спустя годы ступила на родную землю. Она опустилась на колени среди лужайки (а может, то было в лесу) и начала дышать полной грудью, втягивая носом запахи и ароматы.

«Что такое?» — воскликнули мы, боясь хоть что-нибудь упустить, и она весело нам ответила: — «Я просто все это нюхаю. Знаете ли вы, что самое прекрасное в нашей Америке — это ее запах, это прекрасный, прекрасный запах!»

Ей нравилось взять горсть еловых иголок, размять их и поднести к ноздрям, и, закрыв от блаженства глаза, она пьянела от их аромата. Именно эти запахи она любила — чистые, острые или же тонкие, как благоухание чайной розы. Многие восточные цветы она недолюбливала за их тяжелый, сладковатый мускусный запах.

В музыке Керри разбиралась прекрасно, но всегда ценила в

первую очередь чувство и эмоциональность. В годы, когда я была нетерпимым подростком, меня раздражало, что она неспособна была слушать великую музыку без слез, но то, конечно, были не слезы боли, а слезы, исторгнутые из глубин сердца, чересчур чувствительного, чтобы оставаться безразличным к красоте музыки. С подростковой самонадеянностью я как-то спросила ее: «Если ты не можешь удержаться от слез, зачем тогда ее слушать?»

Она глянула на меня своим глубоким твердым взглядом и, чуть помедлив, ответила: «Тебе этого пока не понять. Да и откуда? Ты еще не прожила жизнь. В один прекрасный день ты научишься слушать музыку и услышишь в ней не только мастерство исполнения и мелодию, но и самый смысл жизни, бесконечно грустной и невыносимо прекрасной. Тогда ты поймешь».

В ее любви к краскам было занятное противоречие. Она всегда предпочитала тонкие, не слишком яркие тона. Я немало размышляла над этим, ибо в ее природе были страстность и порывистость, которые, казалось мне, должны были притягивать ее к более грубым оттенкам, и у меня есть теория, не знаю, правильная или нет, согласно которой, отдавая предпочтение тем или иным цветам, люди невольно приоткрывают что-то в своей действительной сути. Она терпеть не могла красные и желтые краски старого императорского Китая. Я думаю, в них было буйство, которое пугало ее, — буйство плотских радостей. Я думаю, это пугало ее потому, что она ощущала, какая горячая у нее кровь, и боялась отдаться своим страстям. Вот она и отдала предпочтение бледным, неброским розовато-желтым тонам чайной розы, что росла у ступенек нашей беседки, — американской чайной розы, и еще она любила теплую старомодную изысканность оранжево-розовой гаммы. Позднее, когда волосы у нее поседели и она стала одеваться в серебристо-серое, в ее одежде всегда присутствовал какой-нибудь из этих цветов. Я думаю, она чувствовала в себе что-то языческое, страстное, сильное, сугубо плотское, а пуританское воспитание, полученное в былые времена, не позволяло ей пойти на поводу у своего естества.

* * *

Если бы она чудом восстала из своей одинокой могилы, ей, наверное, не понравилось бы то, что я сейчас написала. Она посмотрела бы на меня с укором и сказала: «Разве я не боролась всю жизнь против того, о чем ты говоришь теперь, когда я

мертва?» И я бы ответила: «Да, правда, мы видели, как ты боролась, но неужели ты не знаешь, что мы любили тебя за то самое, что ты в себе ненавидела?»

Ибо всякий раз, когда мы говорим о ней или о ней думаем, перед нами возникают как бы две личности, далеко отстоящие друг от друга. Одна — теплая, веселая, с тонким восприятием, обожающая шутку, прирожденная актриса с превосходной мимикой, заставлявшая всех нас, когда она была в веселом настроении, смеяться над тем, как она копировала чей-то голос, походку, манеры, собиравшая нас всех в хор, чтобы спеть веселую песню, оставлявшая вдруг все дела по дому, чтобы выйти в солнечный сад или отправиться на пикник в горы. Другая — пуританка, существо одновременно мистическое и практичное, тщетно пытающееся узреть Господа, истязающее себя молитвами, требующее от себя большей сосредоточенности, большей набожности, но не способное когда-либо целиком осуществить свои планы, и эта неспособность безоглядно уйти в религию делала ее нетерпимой и строгой и мешала поддаться страстной и эмоциональной стороне своей природы, которая, как ее научили с детства, была греховна и уводила от Бога. Она вела постоянную войну сама с собой.

Когда я размышляю о годах ее душевного становления, я начинаю понимать, что этот внутренний конфликт был заложен в самой ее природе. От Германуса она унаследовала неизбывную любовь к красоте. От своих голландских дедушки и бабушки она взяла практичность и деловитость, не позволявшие ей бездельничать; что же касается способности все отдать за правое дело, то она была у нее в крови. Она выросла на рассказах о том, как ее семья оставила все и переселилась в новую страну ради дела Христова. Она была скроена из того же материала, что и другие паломники. Но в эту невероятную смесь внесла свою долю и веселая, практичная, не слишком на деле религиозная маленькая француженка, которая в первую очередь страстно любила Германуса и своих детей, а потом уже, ради них, доброго Боженьку.

И все же только потом, когда я лучше узнала собственную страну и ее народ, я сумела лучше понять и Керри. Сама эта противоречивость, это богатство оттенков, которыми наделила ее смешанная кровь, этот дух первооткрывателей и богатая впечатлениями собственная жизнь делали ее живым воплощением Америки.

Несмотря на то что Керри жила безбедно, несмотря на звучавшую в их большом доме музыку, занятия в школе и деревенские праздники, она не всегда была довольна тем, как ей

живется. Может быть, в те годы никто не был вполне счастлив, ибо всегда помнил, как важно печься о спасении души.

В самые веселые моменты своей жизни она не переставала помнить о душе. Часто в самый разгар веселья, когда друзья слушали ее шутки, дразнились и смеялись, она вдруг замирала, словно кто-то положил ей на сердце холодную руку, и в ее мозгу лихорадочно вспыхивало: «А что же теперь будет с моей бессмертной душой?» Иногда, делая работу по дому и бросая взгляд на сад через отворенную дверь, она начинала думать, что сами райские кущи не могли быть прекраснее, и тут же ее ум вдруг пронзал страх: «Нет, мне не суждено спасение. Увижу ли я небеса?»

Трудно было не думать о подобных вещах. Длинные церковные службы по воскресеньям, домашние молитвы два раза в день, проникающие в душу вопросы священника, желание отца с матерью, чтобы все их дети были «спасены», и неустанная забота церкви — все это мешало ей быть совершенно счастливой.

Но в поисках Бога ею никогда не руководил страх перед преисподней. Я ни разу не замечала, чтобы она чего-нибудь боялась, и не могу ни на минуту представить себе, чтобы кому-либо удалось изобразить для нее ад настолько отпугивающим, чтобы вынудить ее устрашиться его против собственной воли. Нет, она просто от души хотела быть хорошей. Она часто говорила кому-нибудь из нас: «Замечательно быть хорошей, детка, — просто хорошей, потому что ничего лучшего нет на свете». Она искала Бога потому, что, как ей объяснили, только так и можно стать хорошей. Доброта до тех пор, пока человек не нагнет Бога, сказано в Библии, всего лишь «грязные лохмотья».

Однажды она призналась мне, что в юные годы чувствовала себя несчастной из-за этих непрекращающихся поисков. Один за другим ее более легкомысленные друзья ощущали свою «приобщенность» и причащались Святым Дарам. Но непокорная, истерзанная душевными муками Керри, сидя в своей церквушке, отворачивалась от хлеба с вином. Она не желала обманывать себя или других. Она все молилась и молилась.

В ее дневнике я прочитала такую запись об этом времени:

«Между двенадцатью и пятнадцатью годами своей жизни я по многу раз в неделю уходила в лес за амбар, пробиралась через узкий проход между зарослями бузины, кидалась на землю и взывала к Богу, чтобы он дал мне знак, любой знак, который заставил бы меня поверить в него. Иногда я клялась, подобно Якову, что не сойду с этого места, пока он не даст мне знак. Но все было тщетно. Звук колокольчиков говорил мне, что уже вечер, что стадо возвращается домой на дойку и мне пора идти

накрывать стол».

Снова и снова она посвящала в свои сомнения учительницу воскресной школы миссис Данлоп, жену священника, и эта милая, спокойная женщина пыталась привести ее мятущуюся честную душу «к спасению».

«Просто предай себя Господу, дорогая, всего только, — говорила она, исполненная доброго чувства к этой темноволосой прямодушной девочке, которую не очень понимала. — Это так просто отдать свое сердце Богу».

Но Керри этого было мало: «Я должна быть уверена, что Бог примет меня, восклицала она. — Я готова предать себя Богу, но почему Он не желает меня принять? Почему не подает мне знак?»

Это было выше разумения старой миссис Данлоп. Она лишь твердила свое: «Предай себя Богу, дорогая, предай себя Богу».

Для Керри это были бурные годы. Отчаянье, порожденное в ней неспособностью твердо поверить в Бога, нередко толкало ее к безрассудству, но безудержное веселье не приносило ей счастья. Временами, с ужасом ощущая волнение в своей молодой крови, она казалась себе безнадежно порочной. И все больше пугалась просыпающегося желания.

Она была в это время темноволосой красивой девушкой, вполне зрелой для своих лет, всегда готовой посмеяться и острой на язычок, хотя норою слишком серьезной. У нее был и яркие тубы, розовые щеки, и с ее головы струился водопад каштановых кудрей.

Какой женский опыт она в те годы приобрела, я не знаю, она никогда об этом никому не рассказывала. Знаю только, что где-то в это время она страстно влюбилась в красивого молодого парнишку с чудесным звучным голосом, который однажды посмеялся над ней в церкви, когда у нее лопнул обруч. Он вырос в молодого человека высокого, светловолосого и с приятным обхождением, и, хотя его даже радовало, что он принадлежит к числу «неверующих», он исправно ходил в церковь, чтобы там петь и, я склонна полагать, ради того, чтобы увидеться с Керри. К тому же раз в неделю они встречались по вечерам в певческой школе.

Он пел так, что сердце замирало, проговорилась однажды Керри, но взгляд ее был спокоен. Она произнесла эти слова, когда была уже седая, но по ее глазам я поняла, что ее память по-прежнему хранит живое о нем воспоминание. Это все, что мы от нее услышали. Я думаю, его крупное, прекрасное тело нестерпимо волновало ее горячую кровь, и пуританский ее дух смертельно его боялся. Долго он любил ее или нет, я не знаю.

Знаю только, что он выделял ее среди других, и мы вынудили

ее признаться, что он был «мил» с ней и что ей приходилось «держать его на расстоянии», поскольку она не хотела выходить за него замуж.

— А почему? — допытывались мы, увлеченные этой романтической историей.

— Потому, потому, что он не был хорошим. Он пил, и вся его семья пила. Ему трудно было быть хорошим, и я боялась, что если выйду за него замуж, то постепенно стану такой же.

Думала она так сама или нет, не берусь судить. Но в этот самый год заболела ее маленькая мама, юность для Керри резко оборвалась, и она с утра до ночи просиживала у постели умирающей. Глядя, как уходит ее мать, она дала зарок всегда предпочитать злу добро, веселью — смирение и всю жизнь сражаться с чувственностью, которая, как она отлично знала, была у нее в крови. Она будет хорошей, она во всем будет себе отказывать, она предастся Богу. Могла ли она в большей мере расстаться сама с собой? Если она посвятит Богу всю свою жизнь, сроднится с ним всем своим существом, он, может быть, подаст ей знак, что он существует, и тогда она сможет обрести его и за ним следовать.

Внезапная болезнь матери породила в Керри такой ужас, что она и думать забыла о своих сердечных делах. Мать открыто предпочитала Керри всем своим остальным детям. Керри так часто смеялась с ней вместе. У Керри были такие ловкие руки. Она так хорошо готовила и была так рачительна. И к тому же только она любила собирать травы и работать в саду. И она была такая сильная. Иногда она хватала свою крошечную маму и, как ребенка подняв ее в воздух, грозилась не отпустить, пока та не пообещает меньше работать и больше есть. «Ты, гадкая девчонка! — кричала маленькая женщина, делая вид, что ужасно сердится. — Отпусти меня немедленно, слышишь? Я твоя мать!» Но на самом деле ей это нравилось, и она прижималась к девочке. А Керри не просто любила свою мать. Она ее обожала, и им было легко друг с другом, если только речь не заходила о поисках Бога. Здесь Керри могла полагаться лишь сама на себя, ибо французской матушке не было дано понять томление сердца дочери. Ходить в церковь, опускаться на колени, когда отец читает молитву, держать дом в чистоте, заботиться о вкусной и сытной еде — этого ли не достаточно для женщины? Керри же с ней не спорила и нежно любила ее за то, что она такая невзрослая.

Теперь, болея, мать и правда стала ребенком и цеплялась за свою дочь.

Болезнь пришла как-то сразу. Однажды зимним днем мать

пошла в холодный погреб, чтобы взять из банки огурчиков, а поскольку банка оказалась пустой, задержалась, чтобы открыть другую, непочатую, и простудилась. Скоро у нее начался мучительный кашель, а потом и воспаление легких. Керри не хотелось верить, что мать ее умирает, но она была слишком честна, чтобы обманывать саму себя.

Но близость смерти не лишала ее стойкости. Она мужественно встретила это испытание. У постели умирающей она оставалась веселой, комната сверкала чистотой, была наполнена светом и ароматом цветов; она стирала, крахмалила и гладила маленькие, в оборочках, кружевные чепцы, которые носила мать, и шила ей прелестные ночные рубашки с той же увлеченностью, с какой обшивала когда-то своих кукол, — делала все, чтобы облегчить страдания маленькой женщины с запавшими глазами, лежавшей в сделавшейся для нее слишком большой постели.

Германус в это время перебрался в другую комнату, и Керри спала с матерью, согревая ее маленькое, хрупкое, холодное тело своим молодым теплом, и дурачилась как могла, только бы мать не боялась.

Но вот однажды ночью у матери начался ужасный приступ кашля, и Керри кинулась поднимать ей голову. Мать, измученная болезнью, глянула на нее и простонала: «Детка моя, неужели это конец?» Последнее слово она сумела произнести только по слогам.

Неожиданно для себя Керри почувствовала, что неспособна одолеть страх, затаившийся в материнских глазах. Ах, если б она по-настоящему верила в Бога! Если б она могла сказать своей матери: «Я знаю».

Ей обязательно нужен был знак… Она отдала бы всю себя. «Я отдам всю себя, всю свою жизнь Богу», — страстно шепнула она. Ее ум продолжал искать выход. Нельзя остановиться на полпути — настоящая жертва должна быть полной. «Я поеду миссионеркой. Это самое большое, что я могу предложить Господу».

Внезапно пришел конец. Мать слабо вскрикнула, и Керри взяла ее на руки. Она увидела, что помутневшие глаза матери снова зажглись огнем. Слабая удивленная улыбка тронула ее побледневшие губы, и она выдохнула: «Так, значит, все это правда!»

Какое-то мгновение она смотрела сквозь стены комнаты в неведомое пространство другого мира и потом умерла. Услышав этот крик, пытаясь поймать взгляд материнских глаз, Керри почувствовала, как у нее замерло сердце. «Это и было знамение Божье?» И она с нежным благоговением уложила мать обратно в

постель.

II

Так Керри принесла свою жизнь на алтарь служения Господу. Она твердо следовала своему зароку. Ей трагически не хватало матери. Она не могла теперь с легким сердцем петь по вечерам, ибо не было рядом с нею этой спокойной души, и она крепко держала в памяти тот час, когда отдала себя Богу.

Но Господь по-прежнему не давал знак, что принял ее. Она должна была ждать, когда ей откроется, что делать дальше, а пока что дни ее проходили, как прежде, в работе и школьных занятиях. Правда, она стала спокойнее и уравновешеннее. Она прекратила ходить на деревенские вечеринки. Она решила не гулять больше с Нилом Картером. Ее задача упорно учиться и готовить себя к делу, которому обещала посвятить свои дни.

Суть миссионерской деятельности ей была в общем знакома. Несколько раз в их маленькой деревенской церкви появлялись изможденные, опаленные солнцем люди, державшие путь в чужие страны, и речи их были горячи и неистовы. Она слушала, невольно завороженная их смелыми подвигами во славу Божию. Но сама она вовсе не стремилась услышать «голос призыва». Ведь это значило бы покинуть Америку! А она не могла оставить эту страну. Она всякий раз спешила понезаметнее ускользнуть из церкви, стараясь не попасться на глаза миссионеру и чувствуя радость и облегчение, если это ей удавалось.

Ныне все переменилось. Она должна была ехать — должна была и готова была. Она обещала. Она спокойно ходила по дому, но если кто-нибудь замечал ее состояние, то говорил: «Керри не может забыть о смерти матери». Однако в этом было нечто большее. Она начинала отрешаться от привычной вольной жизни, готовясь вступить на путь, который ей будет указан.

Прошло два года, жизнь делалась легче, и Германус обнаружил, что его старое увлечение начинает давать плоды, ибо, немного придя в себя и поправив нарушенное войной хозяйство, люди даже из дальних мест стали приносить ему на починку часы и драгоценности. Он к тому же и сам делал часы, а они тогда были в большом спросе, Какая-то волшебная сила была заключена в его тонких, подвижных пальцах, укрощавших самые упрямые механизмы. И впервые в жизни он начал основательно пополнять семейный бюджет.

Однако Корнелиус по-прежнему оставался главным в семье, он и на земле работал, и учительствовал. Две старшие сестры умело вели дом и заботились о младших детях. Больше всего хлопот было с младшим сыном, Лютером, очень похожим на

Керри лицом и характером. Но если ее отличало стремление к самосовершенствованию и искреннее желание быть хорошей, то он, став юношей, целиком подчинился порывам плоти. Он рос строптивцем и все рвался на Запад, к золотым приискам, манившим в то время всякого мало-мальски склонного к бродяжничеству молодого человека. Семья пыталась объединенными усилиями удержать его в рамках пристойности. Он больше всего любил свою мать, которая лучше кого бы то ни было, понимала его, и теперь, когда ее не стало, с ним совсем не было сладу. Рассердившись однажды не на шутку. Германус собрался даже хорошенько его выпороть, но парень был на голову выше его, успев к этому времени превратиться в высокого, черноглазого, темноволосого молодого человека, гак что маленький самонадеянный отец при всем своем негодовании не мог совершить подвига, на который решился. Корнелиус однажды все-таки выпорол его по приказу родителя, но после этого ему стало так не по себе, что он выбросил розги и не пытался повторить экзекуцию. После смерти матери все пошло не в лад. Но так или иначе семья жила как было заведено, а Керри никому не открывала своей тайны, все более укрепляясь в принятом решении.

Ко времени, когда ей исполнилось восемнадцать лет, старый доктор Данлоп, пастор ее юных лет, собрался уходить со своего поста, поскольку он теперь стал очень толстым и нередко дремал во время службы. Было ясно, что нужен новый священник. Германус, принимавший самое активное участие во всех делах деревни, хорошенько изучив взгляды разных молодых людей, приглашенных на испытательные проповеди, выбрал высокого, серьезного молодого человека, который, несмотря на свой возраст, казался очень рассудительным и зрелым, поскольку побывал на войне. Он был из их же штата, из ближайшего графства Гринбриер. Его отец был там самым богатым помещиком; после войны, поработав в школе, молодой человек пошел в семинарию. Из колледжа и семинарии он вышел с множеством пышных отличий, причем каждый раз особо отмечалась его удивительная способность к языкам, особенно к санскриту, арабскому, ивриту и греческому. Жителям их маленькой деревни был привит вкус к гуманитарному образованию, а в семье Германуса жила культурная традиция, которую он поддерживал в своем потомстве. Более того, молодой проповедник был приятной наружности, высокий, обходительный, светловолосый, а жена у него была маленькой и изящной, непременно в платье с оборками и походила на мешочек с рукоделием, словно повисший у него на руке. Его испытательная

проповедь вполне соответствовала христианской доктрине. Он достаточно хорошо обосновал традиционное представление о предопределении и свободе воли; к тому же она была длинной, содержательной и совершенно непонятной для большинства юных членов конгрегации. Это решило дело. Такой человек и был нужен.

Тем же летом, как только он обосновался в обросшем вьюнками пасторском доме рядом с белой деревенской церковью, его навестил младший брат, еще учившийся в колледже, причем этого молодого человека следует упомянуть уже из-за Керри. Он готовился принять церковный сан, был высок, худощав; близорукие, рассеянные голубые глаза выдавали мистический склад ума; голос был тихим, а улыбка мягкой. Он был крайне застенчив, молчалив и ни в какую не желал ни участвовать в хоре, ни посетить певческую школу. С извиняющейся улыбкой он говорил, что очень занят — читает с братом. По воскресеньям он садился чуть поодаль от других, никого, очевидно, не замечая, и на его лице отражалось непритворное благоговение. Наткнувшись на него взглядом, что случалось нечасто, Керри думала: какой благочестивый молодой человек, возможно, без чувства юмора, но все равно очень хороший. Ее собственное чувство юмора все время нещадно ее подводило. К своему стыду, она способна была увидеть что-то смешное даже во время похорон, а сколько раз смех одолевал ее в церкви! И даже из-за какой-нибудь, в сущности, ерунды. Взять, к примеру, историю с мисс Нельсон: когда та играла на органе, на тулье ее маленькой шляпки собиралась туча мух. Тут же, угодив в складки, они начинали бешено жужжать и роиться, и Керри все это казалось ужасно смешным, тем более что мисс Нельсон, маленькая, застенчивая женщина средних лет, сидела чуть ли не в полуобморочном состоянии, смущенная, с краской на лице. В перерывах между гимнами ей раз-другой удавалось улизнуть и избавиться от этих насекомых, но проходило короткое время, и подслащенный крахмал на тулье привлекал еще больше мух к ее шляпке. Каждое лето эта шляпка служила приманкой для мух и предметом насмешек для младших членов общины.

Но брат священника подобных казусов даже не замечал. Его мысли, сомнения нет, были где-то далеко, там, где им положено было быть. Керри, которую всегда смущало несовпадение ее устремлений с действительным состоянием души, видела это особенно ясно при взгляде на его напряженное, немного бледное юное лицо. Короткими разговорами с ним дело и ограничивалось. Он казался человеком отстраненным и в силу свойств своего характера и из-за своего призвания. Она очень его уважала, но о

его существовании вспоминала не слишком часто. Какое ей дело до молодых людей, если ее ждет миссионерская деятельность?

Когда ей стукнуло девятнадцать, она уже усвоила все, чему мог научить ее Корнелиус, а он не хотел, чтобы ее быстрый, блестящий ум этим и ограничился. Благосостояние семьи после войны восстановилось, большой нужды в Керри дома не было, Лютер утихомирился и согласился идти в школу «получать образование», и Корнелиус решил определить сестру в женскую семинарию, где она могла бы развить не только свой ум, но и сильный прекрасный голос.

Это должна была быть не обычная семинария. Германус хотел, чтобы, кроме обязательной учебной программы, главный упор там делался на здравую религиозную доктрину, а именно на пресвитерианство, и уделялось должное внимание нравственному воспитанию и этикету. В результате длительных поисков подходящее во всех отношениях место было найдено — белвудская семинария неподалеку от Луизвилля, в штате Кентукки.

Туда и отправилась девятнадцатилетняя Керри, с сердцем, бьющимся от волнения. На ней было новое коричневое кашемировое платье, сшитое специально для путешествия на пароходе. Платье с высоким турнюром, шестью складками на юбке, с кремовым присборенным на груди и обшлагах кружевом. Маленькая коричневая касторовая шляпка, отороченная такими же кружевами, кокетливо прикрывала ее кудрявые волосы. Керри была в восторге от своего обличия, хотя боялась, что рот у нее капельку велик. Но в эти годы у нее были такие яркие губы, какие только можно вообразить, и цветущие розовые щеки. Много лет спустя ее маленькая дочка с детской наивностью спросила однажды: «Мама, а ты была хорошенькая девушка?» Ее карие глаза в этот момент вспыхнули, и она ответила с деланной скромностью: «Нилу Картеру так показалось, когда он увидел меня перед отъездом в семинарию».

Два года, проведенные в белвудской семинарии, были счастливыми, подарив ей много друзей. В ее классе училось семнадцать девушек, и она завоевала всеобщую любовь, сделавшись их вожаком. С ее богатой натурой, она готова была принять в свое сердце любое человеческое существо, и ее всегда отличало многообразие дружеских связей. Главным, что пробуждало в ней интерес к людям, была их потребность в любви и помощи. Мне думается, именно этим и привлек ее внимание Нил Картер он нуждался в ней, в ее благотворном влиянии. Во всяком случае, она однажды сказала нам, что он почти завоевал ее мольбой о помощи, но при очередном его «падении» — а он

любил выпить — развитое чувство юмора помогло ей понять, что ему слишком уж нравится роль кающегося грешника, и он потерял ее расположение.

У меня под рукой лежат сейчас, как напоминание о ее школьных годах, два сочинения, написанных красивым мелким почерком, каким писали в те дни. Одно из них озаглавлено «Королева Эстер». Это рассказ о самопожертвовании иудейской королевы — всегда ее притягивало самопожертвование! и о готовности этой королевы, если потребуется, расстаться с жизнью ради своего народа. Это сочинение завершалось восхитительно наивным уверением, что те, кто идет правильным путем и верит в Бога, непременно будут вознаграждены.

За второе сочинение она получила золотую медаль, которую носила на короткой ленте на шее. Это сочинение тоже написано каллиграфическим почерком, без единой помарки. Очевидно, оно предназначалось для конкурса по предмету «Моральная философия», поскольку было пронизано ревностным религиозным догматизмом. Из него видно, что уже в двадцать лет Керри была далека от страсти к удовольствиям, характерной для ее непокорных девичьих дней, и преисполнилась решимости быть благородной и верующей христианкой. Я могла бы, пожалуй, увидеть в этих страницах некий педантизм, если б не знала ее пристрастия к причудам и чувства юмора, помогавших выигрывать любую битву. Беда в том, что до конца своих дней всякий раз, когда она бралась за перо, на нее нападала какая-то торжественность и она принималась всех во всем наставлять, хотя на самом деле эти наставления предназначены были ей же самой. Даже в своем коротком дневнике она подобным образом укрепляла свой дух. По-моему, дело тут в том, что у нее была потребность непрерывно постигать себя и держаться на верной стезе. Она постоянно читала про себя молитвы, опасаясь, что ее веселое естество собьет ее с пути истинного.

Сомнения нет: будь она той личностью, которую я вижу в этом превосходном и абсурдном сочинении «Нравственное обоснование христианства», она никогда не завоевала бы всеобщей любви своих одноклассниц, с некоторыми из них она переписывалась до самой смерти. Девочки из ее класса, оставшиеся в живых через двадцать пять лет после окончания семинарии, выстегали для нее из кусочков шелка и бархата одеяло, причем каждая вышила на своем кусочке свое имя, и послали его Керри в Китай. Она с улыбкой прижала одеяло к сердцу, и глаза у нее увлажнились. «Милые мои девочки», — пробормотала она, хотя все они успели уже поседеть, да и она тоже.

Я помню, по этому случаю она даже уступила своему пристрастию к ярким цветам и подбила одеяло великолепным узорчатым шелком алого цвета, и это было торжеством ее духа. Это одеяло удостоилось чести покрывать постель в комнате для гостей, но когда Керри умирала в этом китайском городе, она потребовала его, и ее укрыли этим воплощением любви и почтения. Одно меня утешает: она умерла, не дожив до дней революции, когда одеяло попало в руки кровожадных солдат-мародеров. Они его разыграли, и оно досталось такому темному и дикому существу, какого я отродясь не видела, и он обернул им свои голые грязные плечи.

* * *

В двадцать два она закончила семинарию и вернулась в родную деревню, чувствуя себя уже настоящей молодой леди. Но годы несвободы в семинарии и приверженность религии укрепили ее в желании ехать миссионеркой. Она во всеуслышание заявила об этом отцу. Он был потрясен до глубины души, пришел в ярость и начал издеваться над самой этой мыслью. Что? Молодая красивая женщина поедет в страну, где живут язычники и скорее съедят христианина, чем станут его слушать… И это его дочь! Нет и нет!

Керри была удивлена сверх всякой меры: ведь она думала, что это желание будет очень по душе ее глубоко религиозному отцу; и она, что с ней нередко случалось, тут же вышла из себя. Она принялась горячо настаивать на том, что он обязан посвятить свою дочь правому делу, но он, от кого она и унаследовала эту горячность и это упрямство, с жаром и подчеркнутым достоинством отвечал, что во всем надо знать меру, даже в почитании Бога. Не дело двадцатидвухлетней незамужней девушке ехать миссионеркой.

Керри впервые слышала от отца такие еретические речи; у нее из глаз полились злые слезы, и прежний высокий порыв обернулся упрямой решимостью.

На рождественские праздники вернулся младший брат пастора. Он еще вырос, стал бледнее и отчужденнее. Ей, при теперешней ее экзальтированности, он казался существом удивительным. Нил Картер и его окружение были грубыми и отталкивающими. Затем среди ее сверстниц пронесся слух, что этот молодой человек собирается стать миссионером. Сердце ее забилось.

Однажды она воспользовалась случаем и заговорила с ним,

причем ее всегдашняя веселая беспечность неожиданно уступила место застенчивости. Это было после службы, в час, когда прихожане имели обыкновение задерживаться на паперти и прогуливаться по церковному дворику. Он, чувствуя ту же застенчивость, почтительно к ней склонился. Она спросила его, и вся ее душа отразилась в золотисто-карих глазах: «Вы действительно хотите поехать миссионером в Китай?»

Она замерла, ожидая ответа.

— Да, я вижу в этом мой долг, — просто отозвался он. Его высокий белый лоб не дрогнул, когда он стоял так, со шляпой в руке, глядя перед собой ясными голубыми глазами.

— Я давно хотела уехать, уехать надолго, — с жаром воскликнула она.

Он впервые посмотрел на нее с интересом. Его голубые, рассеянные, холодноватые глаза встретились с ее глазами — темными, сияющими.

— В самом деле? — сказал он.

В последующие годы, когда она хорошо узнала его, эти простые слова: «Я вижу в этом мой долг» — всегда служили для нее ключом к его натуре, объясняли всякий его поступок, были оправданием его жизни.

Он запомнил этот разговор. Он начал наносить ей официальные визиты, и они с воодушевлением говорили о религии и об их общей цели. Она буквально смотрела ему в рот, когда он растолковывал ей истины, которые, хвати у нее терпения, она могла бы вычитать из пыльных книг в ризнице. Ей казалось, что они предназначены друг для друга самим Богом. Когда они оказывались вместе, у нее не поднималось волнение в крови. Они разговаривали легко, естественно о добре. Ее решимость росла и становилась все чище. Привязанность к мирскому и врожденная пылкость уходили прочь. Когда он покидал ее, она чувствовала себя спокойной и утвердившейся в вере. Не было того жара в крови, тех шуток и смеха, которые, когда Нил ухаживал за ней, веселили ее и в то же время заставляли немного стыдиться себя.

В один прекрасный день, очень скоро, пришло письмо. Это было предложение, написанное аккуратнейшим почерком, в строго формальном стиле. Поскольку у них была общая цель в жизни и общие взгляды, не иначе как сам Господь повелевал им соединить свои судьбы. К тому же его мать не желала, чтобы он уехал к язычникам без жены. Это было ее единственное условие — чтобы он нашел себе жену. Сыскать женщину, которая согласилась бы уехать так далеко, было непросто. Но он положился на Бога. И ожидание его не обмануло.

Керри прочла его письмо с благоговением. С таким человеком ей удастся быть хорошей. Ее живое воображение тут же нарисовало ей грядущие годы совместной жизни, в которой они будут во всем полагаться друг на друга и на Господа, помогать друг другу. Он не был красноречив. Зато она всегда сумеет подыскать нужные слова и помочь ему в составлении проповедей. При его глубокой учености и ее красноречии, перед ними не устоит ни одна языческая душа. И они пожнут богатый урожай этих чистых, но непросвещенных душ обращенных в христианство язычников, которые последуют за ними с обожанием в глазах, и эта удачная жизнь заставит навсегда забыть былое беспокойство, неистовость, любовь к земным радостям. С Нилом Картером ее душа погибнет, ей же все равно его не спасти. С этим, другим, человеком она не просто попадет на небеса, но и приведет с собой еще многих и многих. Как только ее сердце сжималось в тоске при мысли, что придется покинуть любимый дом и страну, она начинала настойчиво уверять себя, что она на верном пути. Больше всего ей хотелось достичь праведности. Если она пожертвует всем, всем на свете, она получит от Бога знамение. Когда она беседовала с молодым миссионером, то чувствовала, что этот миг не за горами.

Впрочем, она не сразу ответила на письмо. Прежде она пошла к отцу и со спокойствием, обретенным ею вместе с религиозной экзальтацией, негромко сказала ему, что Господь указал ей путь и что она решила выйти замуж за молодого человека, собравшегося стать миссионером, и отправиться с ним в дальние страны.

Германус был человеком седоволосым, холерического темперамента, прямолинейным и воинственным, как маленький генерал. Он схватил свою трость и двинулся к двери. Было это около трех часов пополудни, в то самое время, когда появлялся молодой миссионер. И сегодня он как раз шел к ним, как всегда, немного понурившись, медленным, не совсем уверенным шагом. Маленький разъяренный человечек выскочил перед ним и начал размахивать тростью у его лица. Молодой человек в удивлении отшатнулся.

— Сэр, я знаю, что у вас на уме! — заорал Германус таким голосом, какого никак нельзя было ожидать при его росте. — Но вам моей дочери не видать!

Молодой миссионер был, хотя и не очень щедро, наделен некоторым чувством юмора, которое иногда обнаруживалось. Он посмотрел на маленького человечка с высоты своего роста и мирно ответил: «Нет, сэр, я думаю, я ее получу» — и двинулся дальше.

Керри ждала его у двери, и ее последние сомнения теперь как

рукой сняло. Сопротивление Германуса оказалось на руку молодому человеку. Она была согласна.

Корнелиус взялся утихомирить отца; он и сам не совсем одобрял решение сестры, но понимал, что она взрослая женщина и вправе решать сама за себя. К тому же этот молодой человек пришелся ему по душе, а миссионерскую деятельность он почитал делом благородным, если браться за него по призванию и не жалея сил. Но главным было добиться для Керри родительского благословения, дабы она могла поступить по своей воле. Очень неохотно, после долгих разговоров Германус все-таки дал свое согласие.

Отныне каждый день в три часа пополудни молодой миссионер приходил в дом и по часу беседовал с Керри в гостиной, называя ее до самого дня свадьбы «мисс-Керри», а в четыре часа пил чай с ее родней, во время которого, согласно семейному обычаю, подавались вино и небольшие кексы.

Восьмого июля 1880 года они поженились, причем Керри была в сизого цвета дорожном костюме, поскольку жене миссионера не подобало наряжаться в белый атлас и флёрдоранж.

На вокзале на мгновение возникла неловкость: молодожен, оказывается, купил только один билет.

— Вы уж запомните, что у вас теперь есть жена, — с упреком заметил старший брат.

Дело было в том, что для молодого миссионера даже волнения этого дня не могли затмить радости от сознания возможности наконец-то заняться делом, избранным на всю жизнь. «Работа» называл он его, и было ясно, что это слово существует для него только с заглавной буквы. Мать настаивала, чтобы он нашел себе жену, и теперь это препятствие исчезло. Жена у него была. Правда, он не всегда об этом помнил.

* * *

Если когда-либо два несмышленыша отправлялись в путь, то это они и были. И он и она жили в небольших тихих поселках, и все их путешествия ограничивались разве что поездками в школу. Теперь же они, исполненные высоких помыслов, уверенно двинулись на другой край света, зная только, что сперва им предстоит ехать по суше, а потом по морю. У Эндрю было полторы тысячи бумажных долларов, полученных им в миссионерском совете, которые он недолго думая сложил пополам и запрятал в карман своего длиннополого двубортного сюртука. Весь путь через континент они проделали сидя, потому

что не знали о существовании спальных вагонов. В Сан-Франциско они несколько дней не могли достать билеты на пароход. Когда в конце концов Эндрю отправился на берег океана и обнаружил у причала «Город Токио», скрипучее, не очень пригодное для путешествий по морю старое корыто, отплывавшее на следующий день, он нанял каюту, и они приготовились к следующему этапу своего путешествия.

Керри не понадобилось больше трех дней замужней жизни, дабы понять, что во всех практических делах ей придется взять бразды правления в свои руки. Как ни силен был Эндрю в проповеди и в молитвах, в делах земных он был беспомощен и неискушен, словно ребенок. Он безоговорочно верил в изначальную человеческую доброту и, хотя в проповедях обличал всякую подлость, не мог разглядеть злого начала ни в ком, кроме тех, кто не разделял его религиозных взглядов. Проследить за тем, чтобы их багаж и пожитки доставили на корабль, пришлось Керри, как и позаботиться обо всем, что понадобится в морском путешествии.

Легко ли понять теперь, спустя полвека, что было у нее на сердце в тот жаркий летний день, когда корабль поднимал паруса, чтобы покинуть Америку? От кого же как не от нее я знаю, что, увидев, как неотвратимо отдаляется от нее родная страна, она, объятая ужасом, убежала в каюту. В этот момент она чувствовала враждебность, хотя и немедленно подавленную, к святому, за которого вышла замуж, и даже к самому Господу за то, что даже в этот час расставания с родиной он не пожелал заговорить с ней с небес и каким-либо знамением утвердить ее в правильности принятого решения.

Морская пучина, по которой переваливающийся с боку на бок старый пароход должен был целый месяц нести их, до конца дней осталась для Керри морем ужасов. Уже через час после того, как исчезла из вида земля, Керри поняла, что море не для нее. Морская болезнь мучила ее особенно жестоко: ее не только тошнило, но и страшная боль пронзала голову и спину, делаясь день ото дня все сильней. Она выросла в горах и любила горы. В море она особой красоты не замечала, напротив, оно вызывало у нее отвращение и страх. Отчасти, я думаю, это было из-за того, что оно невольно напоминало ей о расставании с родной землей, которую она год от года любила все больше, о жестоком расставании навсегда, и океан означал для нее в последние годы невозвратимость потери родины, поскольку она тогда скорее согласилась бы умереть в чужих краях, чем решиться на новое морское путешествие. Однажды позднее, когда она, еле передвигая ноги, шла по сходням корабля, она посмотрела на нас

своими блестящими, искрившимися юмором даже в этот момент глазами и произнесла: «Ох, как мне хочется попасть на небо, потому что, как я помню, в Библии сказано: «И не будет там моря».

Молодому мужу не слишком нравилось, что весь медовый месяц она была нездорова. Но иной новобрачный расстроился бы на месте Эндрю куда больше. Он ведь не слишком обращал внимание на женскую внешность, даже на внешность собственной жены. Она не могла этого не видеть, и это вызывало у нее улыбку, хотя и смешанную с горечью. Я помню, как однажды, много лет спустя, когда ее юная красота ушла в далекое прошлое, она сказала: «Эндрю никогда не замечал, как я выгляжу или что я ношу. Единственный раз за все время он произнес несколько слов о моем виде, когда я была при смерти после родов, и он был непривычно огорчен при мысли, что вдруг я умру. Сидя у моей постели, он тогда застенчиво вымолвил: «Я и не знал, Керри, что у тебя такие красивые карие глаза». А ведь к тому времени мы прожили восемнадцать лет и я только что родила седьмого ребенка! Теперь вы понимаете, каково это — быть замужем за святым». А затем с обычным для нее быстрым и прихотливым поворотом мысли добавила: «Впрочем, по мне, лучше быть замужем за святым, который не замечает, как ты хороша, чем за грешником, не пропускающим ни одного смазливого личика!»

* * *

В Японии они были поражены уровнем цивилизованности и культуры, что бросалось в глаза даже во время непродолжительных стоянок в портовых городах. Керри восхищало изящество этих небольшого росточка людей, и ей казалось, что столь совершенный народ просто не может быть порочным. Но Эндрю не так-то легко было искусить красотой, и при виде многочисленных храмов и людей, молящихся идолам, он лишь еще больше утвердился во мнении, что эта страна оставалась «варварской».

Старый «Город Токио» шел только до Японии, и им пришлось пересесть на колесный пароход, который курсировал по китайским морям. Там на их долю выпало пять ужасных дней. Впрочем, до того, как пароход вошел в особенно бурные воды, они провели два прекрасных дня во внутреннем Японском море. Там океанские волны, укрощаемые японскими островами и горами, текут мирно, не суля никакой опасности, и словно любуются своей красотой. Для Керри это море навсегда осталось

очаровательным примером спокойствия, и в воспоминаниях о нем она всякий раз черпала силы для очередного плавания.

Когда они приблизились к Китаю, она с жадностью начала всматриваться в сушу, надеясь увидеть живописные скалистые берега, которые так запомнились ей, когда они подплывали к Японии, но ничего подобного здесь не было. Янцзы плотным, угрюмым потоком вливалась в море, и ее желтые, грязные воды никак не желали смешиваться с чистой морской водой. Ей показалось даже, что корабль споткнулся на границе между двумя не желавшими смешиваться водяными потоками. По обе стороны от корабля, по мере того как он приближался к берегу, открывалось длинное, плоское, грязное пространство. У нее дрогнуло сердце. Неужто ей суждено провести жизнь в стране, лишенной красоты?

Так они добрались до Китая и высадились в Шанхае, который был тогда, как и теперь, главным китайским портовым городом. На пристани их встретила группа здешних миссионеров, и Керри стала пристально в них вглядываться, стараясь понять, что это за люди. Она была немного разочарована, обнаружив, что они никоим образом не отличаются внешне от других. Ничто в их облике не свидетельствовало об особом благородстве, как, впрочем, и ни о чем дурном. Это были обычные, приятного вида люди, одетые немного не по моде, такие же, каких она могла встретить в своем родном городе. Женщины с тайной завистью рассматривали детали ее дорожного костюма, и ее тронуло, что первые их вопросы были об Америке. Эти люди были добросердечны, дружелюбны, и было приятно, что их встретили.

Этих бывалых миссионеров подбодрило лицезрение двух молодых, крепких американцев, только что приехавших из родной страны. Миссионеров всего-то было одиннадцать человек, и уже семь лет никто новый не появлялся. В первый же вечер новоприбывших радушно пригласили отобедать в доме одного шанхайского миссионера, и за столом завязался оживленнейший разговор, во время которого все горячо интересовались последними американскими новостями и давали советы.

Всякий раз, когда я думаю об этом обеде, я не могу не вспомнить одну историю, которую рассказала мне Керри. После обеда Эндрю, сверх меры насытившийся хорошей пищей и изрядно утомленный морским путешествием, крепко заснул прямо за столом, к ужасу молодой жены, которая находилась на другом конце комнаты и не могла его вовремя растолкать. Такое случилось на глазах Керри в первый раз, но потом ей было уже не внове, что Эндрю, стоило ему утомиться или заскучать, одолевала дремота, и, немного соснув, он просыпался освеженный и в

хорошем настроении. Эта его особенность, вне всякого сомнения, шла ему на пользу в напряженные, первые годы работы и весьма помогла ему держаться в хорошей физической форме, но неизменно терзала Керри. Керри взяла за правило, если удавалось, садиться с ним рядом и незаметно его будить, причем делать это надо было с особой сноровкой, ибо, проснувшись, он мог от неожиданности замычать, что немедленно привлекло бы к нему общее внимание. Из тех случаев, которым я была свидетельницей, ее особенно возмутил такой: как-то раз он сидел в церкви на помосте в числе других ученых мужей, с которыми должен был выступать. Поскольку речь предшествующего оратора была скучновата, он со спокойной совестью решил соснуть. Керри, сидевшая в первом ряду, мгновенно это заметила и, если бы это было в ее власти, пригвоздила бы его взглядом к противоположной стене. Но он спал, а она не находила себе места и чуть не вскочила на ноги, когда его должны были объявить. Но он каким-то чудом исхитрился открыть глаза в тот самый миг, когда кафедра опустела, преспокойно поднялся на нее и начал говорить. Керри не удержалась, стала потом его корить, но он лишь виновато улыбнулся, и ей нечего было больше сказать, поскольку он и правда всегда просыпался вовремя.

Миссионеры еще неделю оставались в Шанхае, чтобы сделать запасы на зиму. В те дни этот портовый город был единственным местом, где можно было приобрести иностранные товары, и даже уголь на период холодов закупали здесь, а потом отправляли его в глубь страны на местных джонках. Эндрю купил первый раз в жизни британский ульстер, поскольку зимы в долине Янцзы холодные и сырые. Еще они купили постельные принадлежности и обстановку для комнаты, а Керри вдобавок, к некоторому неудовольствию Эндрю, еще и розового муслина на занавески.

Затем их компания распалась — одни уехали в Сучжоу, другие, и среди них новоприбывшие, в Ханчжоу. Они отправились под парусами на старых тихоходных деревянных джонках, и это путешествие отняло у них семь дней, во что трудно поверить сейчас, когда превосходная железная дорога за какие-то полдня доставит вас из Шанхая в Ханчжоу, — шанхайские предприниматели проводят конец недели на берегах Западного озера в Ханчжоу. Но в те времена, кроме этой маленькой группки, — Эндрю, Керри и старой миссис Рендолф в одной джонке и супругов Стюарт с их тремя сынишками — в другой — в Ханчжоу больше не было белых. Джонки стояли в заливе Сучжоу, там они погрузились на них, и лодочники повели свои суденышки на веслах через китайский город, а по берегам толпились зеваки, желавшие поглазеть на этих странных пассажиров.

Оглядываясь через плечо на множество коричневых лиц, Керри испытывала досадное двойственное чувство. Здесь рядом были те самые «язычники», ради которых она оставила родную страну, которым она посвятила жизнь и которым готова отдать всю себя без остатка! Но тут же ее охватило отвращение. Как противно было смотреть на них, сколько жестокости было в их узких глазах, сколько холодности в их любопытстве! Но вот джонки выплыли, наконец, из городской тьмы, где дома так близко подступали к каналам, что казались расплесканными по берегам, и даже стояли в воде на сваях.

За пределами города вода в канале бежала ровно и спокойно между маленькими нескошенными полями, и Керри облегченно вздохнула. Беспредельное голубое небо, знакомые по родным краям ивы, созревшее зерно, которое только оставалось скосить, все это было привычно, тут ей нечего было бояться.

Себе на счастье, первые свои впечатления о новой стране Керри получила в те долгие прекрасные дни, что они плыли между созревших полей. Ее сердце никогда не могло устоять перед красотой, а здесь была пусть необычная, но красота. Кончался сентябрь, на небе не было ни облачка. В долине Янцзы солнце никогда не светит так ярко, как в это время года, когда тяжелая летняя жара кончилась, а осень только вступает в свои права, отнимая у воздуха и солнечного света опасную силу, но сохраняя приятное тепло. Множество птиц, качающийся на ветру бамбук, пологие зеленые холмы, золотые воды канала, петляющего среди полей, желтых от налитых кистей риса, через каждые полмили коричневые деревушки с домами, крытыми соломой, нагоняющий дремоту стук цепов, вымолачивающих зерно на гумне, теплая сладость осеннего воздуха — такими впечатлениями были наполнены первые дни Керри в Китае, и это как нельзя лучше расположило ее идти к заветной цели. Она сидела на носу джонки и глядела по сторонам, очарованная, поражаясь по простоте душевной тому, что языческая страна может быть так прекрасна.

Время от времени они просили лодочника причалить к берегу, чтоб выйти на сушу и размяться. В безветренный день, когда нельзя было поставить парус, джонка двигалась не быстрее, чем пешеход. А в эти ранние осенние дни было полное безветрие, царило спокойствие, и джонки приходилось тащить на канате, прикрепленном одним концом к мачте, тогда как другой завязывали петлей и накидывали на плечи мужчин, шедших по берегу, по специально протоптанной для этой цели тропинке.

Когда они достигали деревни, Керри жадно вглядывалась в лица встречных. В них не было жесткости и бессердечия,

заметных у горожан. Это были загорелые крестьяне, добрые, любопытные и, что правда, то правда, с изумлением глядевшие на людей, так на них не похожих, но охотно отвечавшие на улыбку, а при виде улыбки Керри всегда становилось легко на душе. Веселые, как сверчки, ребятишки, их отцы и матери были отныне для нее просто семьями, работавшими на земле, обычными людьми, и, думается, с этого момента она навсегда забыла, что перед ней «язычники». Это позднее определило ее жизнь среди них, хотя, по правде сказать, какие-то расовые предрассудки, заложенные в ней скорее всего еще в детстве и юности, у нее сохранились. Но страдание, нужда или чье-то очарование заставляли ее забыть о своих предрассудках, и она начинала видеть перед собой просто людей.

* * *

Я не могу забыть одну историю из ее детства, которую она нам рассказала; дело в том, что, хотя ее отец не желал быть рабовладельцем, он в то же время не позволял своим детям играть с цветными. В дальнем конце поля находился дом, который арендовала семья одного свободного негра, работавшая за право проживания. Семья там была большая, и Германус отгородился от них длинным забором, за который они не должны были выходить. «Мы иногда играли в этой части поля, но мне это было не в радость, — говорила Керри. — Цветные ребятишки взбирались на забор и с завистью на нас поглядывали. Однажды Лютер крикнул: «Нам не велят с вами водиться!» И те загалдели: «Мы знаем, мы знаем, мы же дети ниггеров!» Никогда не забуду, как это меня огорчило. Я поняла тогда, что значит быть черным в окружении белых. А Лютера я выбранила за то, что он проявил жестокость и напомнил им, кто они такие». При этом воспоминании глаза ее засветились нежностью и страданием. Она ведь так мечтала, чтоб все были счастливы!

Сколько раз я видела, как, проходя по китайской деревушке, она вдруг останавливается, словно Христос в Иерусалиме, когда он с величайшей в его жизни горечью возопил: «О Иерусалим, Иерусалим!» И я знала, как она, видя тяготы жизни этих людей, тоже не могла сдержать своих чувств: «Здесь не требуется так уж много перемен, — говорила она. — В этих деревнях надо изменить лишь кое-что. Чем плохи эти дома, улицы, поля? Пусть они остаются такими, какие есть. Если б только эти люди не убивали новорожденных девочек, не держали своих женщин в невежестве, не уродовали им ноги, не возносили свои молитвы из

одного только страха, если б убрать с улиц всю эту грязь и забитых до смерти собак, — эта страна была бы поистине прекрасна, надо лишь умело использовать то, что дано небесами ее жителям».

И снова она восклицала: «Я не хочу, чтобы они нам подражали. Пусть живут, как жили, в своих деревеньках, больших и малых городах, только приучить бы их к чистоте и добру как бы это было чудесно!»

За долгие годы, что я прожила среди китайцев, я не видела, чтоб она учила их чему-нибудь, кроме самых простых вещей, — таких, как добродетель и чистота. Ей, с ее деловитостью, доставляло невиданную радость взять какой-то местный продукт и показать им, как лучше его использовать. «Вам ни к чему заморские товары и куча денег, — говорила она женщинам. — Вы ни в чем не будете знать нужды, если научитесь разумно использовать то, что у вас есть». Проходя по улицам городов и деревням, она, не переставая, бормотала: «У них всего полным-полно, недостает только чистоплотности и праведности». Это ведь были ее собственные устои.

Тогда, в начале своей новой жизни, она мечтала одарить их всем, что составляло основу ее собственной жизни. Она привязалась к этой стране, ее народ согревал ей душу и поддерживал па избранном пути. В такой прекрасной стране не составит труда достучаться в сердца с вестью о благом Боге. Она вступила в эти годы с неукротимым желанием осуществить свое жизненное предназначение. Столько предстояло сделать для младенцев с печальными глазами, для женщин, не умевших читать, — столько, что всего и не переделаешь. И за этими хлопотами она почти забыла об источнике своей душевной тревоги — о том, что Господь так ни разу и не подал ей знака.

* * *

Они достигли Ханчжоу субботним утром, прошли по узким, людным улицам и очутились на территории миссии. Тачки, носилки, торговцы со своими корзинками на шестах, перекинутых через плечо, волшебники и уличные факиры, лавки по обочинам дороги, женщины, стирающие у колодцев одежду и добродушно, во весь голос сплетничающие с соседками, голые детишки, с любопытством шныряющие у людей под ногами и норовящие хоть на минутку забраться в переполненные телеги, не верилось, что бывают улицы такие узкие и вмещающие так много людей. Но вот городская суета осталась позади, когда они вошли в узкие ворота

миссии, где было тихо и мирно. Здесь на зеленой лужайке стояли два побеленных здания, построенных, по правде говоря, без лишних претензий, но чистые, с множеством окон и веранд. Была еще побеленная часовенка, двери которой открывались прямо на улицу. В этой миссии им и предстояло жить.

В доме, что был ближе к улице, одна комната предназначалась для Керри и Эндрю, и в тот же день они распаковали свои пожитки, и Керри, не откладывая, сшила и повесила розовые занавески. Они долго радовали ее и утешали.

На следующее утро, в воскресенье, они отправились в церковь и с глубокой радостью помолились своему Господу Богу в стране, которая его не знала. У входа им пришлось разлучиться — Эндрю пошел на мужскую половину, а Керри и еще две американки — на женскую. Церковь была разделена высокой деревянной перегородкой. Керри уселась и стала смотреть, как ее белые спутницы разговаривают то с одной, то с другой из собравшихся здесь смуглокожих китаянок. Они тепло здоровались, и миссис Стюарт без труда принялась с ними болтать. Керри на мгновение стало завидно, потому что она не знала по-китайски, и язык у нее словно прилип к гортани. Но миссис Стюарт повернулась к ней и сказала: «Они расспрашивают меня о вас. Им нравится, что у вас темные волосы и глаза».

Керри тоже улыбнулась, и ее охватили теплое дружеское чувство и огромный интерес к этим китаянкам всех возрастов, большинство из которых держали на руках младенцев. Она стала разглядывать их опрятные хлопковые кофты с широкими рукавами, их широкие, в складках, юбки и — с ужасом, — их маленькие, с заостренными ступнями ноги. Это надо исправить, решила она, ни минуты не сомневаясь, что ей удастся преодолеть этот варварский обычай. В руках у женщин были молитвенники и еще какие-то книги, аккуратно завязанные в голубые хлопковые платки. Когда служба началась, миссис Стюарт подошла к крошечному органу, и сразу послышался громкий шелест перелистываемых страниц. Большинство женщин, как Керри узнала потом, была обучены чтению, и они гордились умением отыскать указанный гимн. Доктор Стюарт, здешний пастор, терпеливо ждал, тайком подмигивая, пока, озабоченно подглядывая друг другу в книги и шепчась, они не нашли нужное место. Тогда он подал знак, и миссис Стюарт начала нагнетать воздух в не слишком послушный и наверняка перетрудившийся маленький орган.

Никто не сообразил заранее подготовить Керри к пению этого гимна. В белой церквушке времен ее детства псалмы и гимны звучали величаво и мелодично. Она ожидала услышать и здесь

знакомые напевы и держалась, пока миссис Стюарт не заиграла «Есть на свете фонтан, наполненный кровью». Лица китаянок сделались сосредоточенными и взволнованными. И в тот момент, когда миссис Стюарт открыла рот и запела, все наперегонки принялись ей подпевать. Каждый пел так быстро и громко, как только мог, и по реву, который доносился из-за перегородки, можно было заключить, что на мужской половине творится то же самое. Маленькую часовню наполнял такой крик, что, казалось, вот-вот обвалится крыша.

Каждый слышал только себя и никого больше. Керри изо всех сил старалась скрыть свое изумление лишь бы не расхохотаться. Старая дама, сидевшая рядом с ней, раскачивалась взад-вперед и визжала высоким фальцетом, с немыслимой быстротой пробегая глазами текст гимна, и ее длинный ноготь скользил по страничке сверху вниз. Она кончила раньше всех, захлопнула книгу и торжественно выпрямилась, завязывая молитвенник обратно в платок. На лицах окружающих проступила зависть, и они забормотали вдвое быстрей. Старая дама величаво на них взирала, упоенная одержанной победой.

Это было уж слишком. Керри прижала платок к губам и вышла. Оказавшись на безопасном расстоянии от часовни, где никто не мог ее слышать, она смеялась до слез. Когда смолкли тягучие одинокие голоса одного или двух отставших, но решительно добравшихся до последних строк и воцарилась тишина, она вернулась и посмотрела на миссис Стюарт, стараясь понять, как она это выдержала. Но та давно ко всему привыкла. Она закрыла молитвенник и стала ждать проповеди.

На следующее утро Керри и Эндрю назначили свой первый урок китайского языка. Их учителем был сухой, морщинистый старичок, одетый в какую-то черную хламиду, свисавшую до земли и всю в пятнах. Заслуживал внимания еще его лишенный всякого выражения правый глаз, блуждавший с предмета на предмет. Он знал единственное английское слово «да» и, как они скоро заметили, употреблял его скорее по привычке, не придавая ему точного смысла. У них было небольшое пособие с обозначением звучания слов на ханчжоуском диалекте, подготовленное каким-то американцем, и экземпляр Нового Завета на китайском. Это и были их учебники. Но начав заниматься с учителем, они к полудню уже выучили несколько фраз. Обыкновенно они занимались с этим старикашкой с восьми до двенадцати и с двух до пяти, а по вечерам проверяли друг друга.

У Керри с самого начала обнаружилась поразительная способность к разговорной речи, что, как я слышала от нее,

несколько раздражало Эндрю, поскольку умаляло его достоинство, ибо он верил в мужское превосходство. Зато он с большим успехом изучил написание иероглифов, и это его утешало, поскольку именно в этом он и видел истинный признак учености. Ценными качествами Керри были острый слух и замечательное произношение. Эндрю немного стеснялся говорить, ему казалось, что, если он что-нибудь знает неважно, это ставит его в неловкое положение; у Керри же не было ни подобной гордыни, ни чрезмерной стеснительности. Каждое усвоенное слово она смело употребляла в разговоре со всеми, будь то старый смешливый привратник, повар или служанка. Сделав ошибку, она так же смеялась, как ее собеседник, и получала от этого не меньшее удовольствие. Она веселилась от души, не думая о якобы попранном достоинстве, и с ее улыбчивостью и яркими карими глазами скоро стала любимицей китаянок. Ее любили еще и потому, что в ней легко угадывались тепло и человечность. Когда Керри увидела, что эти люди — такие же, как она, то и держаться с ними стала как с равными, без всякого пренебрежения и нарочитости, ибо ее переполняло тепло человеческой близости. Гнев и удивление вызывали у нее только грязь и нечестность, да и то ненадолго, поскольку оба эти греха, как на беду, оказались слишком уж распространенными, а людей, считала она, «можно сделать хорошими».

После дневных занятий они с Эндрю отправлялись на долгие прогулки, во время которых старались изучить город и его окрестности. Очень скоро они стали отдавать предпочтение окрестностям, потому что узкие, захламленные, кривые городские улицы, заполненные густой толпой и нищими, подавляли Керри. Кроме того, в городе, куда бы они ни направлялись, за ними всегда шла толпа зевак, а в этом не было ничего приятного. Впрочем, я думаю, горше всего ей было видеть печальные картины, особенно бродячих слепых. Я не раз замечала, как, посторонившись, чтобы позволить пройти слепому, она чуть не плакала и жалость переполняла ее сердце. При встрече со всяким незрячим, будь то мужчина, женщина или ребенок, она сразу начинала рыться в кармане в поисках денег, подавленная их убожеством и нищетой. «О, какая беда! — шептала она. — Сколько их тут, и им никогда не увидеть неба, никогда не увидеть земли, никогда!»

Всем прочим она предпочитала прогулку по большой городской стене, с бастионов которой открывался вид на город, на Западное озеро и на извилистые реки, сливавшие свои воды неподалеку от города. Здесь взору открывались обширные пространства полей, и никто не досаждал ей своим

любопытством. Но даже отсюда она инстинктивно старалась не смотреть на землю у внешней стороны стены, ибо там часто лежали тела детей, умерших своей смертью или убитых.

Она почти сразу стала воспринимать Китай таким, каким он остается по сей день, — страной невероятных контрастов, где редкой красоты природа и дивные плоды изощренного людского воображения неотделимы от самого что ни на есть печального на свете. Это соединение красоты и скорби удивительным образом привязывало ее к новообретенной земле, но в иные минуты она с ужасом пряталась в своей комнате, полная отвращения и тоски по своему дому и по своей стране.

* * *

Святой, за которого вышла замуж Керри, оказался, как она вскоре обнаружила, еще и изрядным мужчиной. Они не пробыли в Ханчжоу и трех месяцев, как она уже была беременна. Дети вряд ли были предусмотрены в ее планах, и в своем неведении — роковом неведении представительницы своего поколения — она никак не могла понять, что с ней творится. Она пригоршнями глотала таблетки от печени и хинин, и только опытный глаз миссис Стюарт распознал причину ее недомогания. Когда правда открылась, Керри восприняла ее со смешанным чувством стыда и радости и с немалой долей удивления. Раньше она почему-то считала, что, коль скоро она посвятила себя святому делу, детей у нее не будет. Но она была по природе истинной женщиной и после недолгих размышлений над этой поразительной новостью, позволивших ей приспособиться к новой ситуации, не могла не обрадоваться и не уверить себя, что в ее служении Господу не произошло большой перемены — просто служение это приняло новую форму: теперь ей предначертано вести дом и воспитывать детей; что же до Эндрю, то он обойдется и без ее помощи.

Однако она упорно продолжала учить язык, хотя временами чувствовала себя совсем больной и вынуждена была подолгу лежать в постели. Как и следовало ожидать от женщины такого кипучего темперамента, у нее бывали периоды депрессии и спада жизненных сил, во время которых она почти что со страхом размышляла о том, как будет растить детей в условиях, столь не похожих на те, в которых росла сама, как дать им воспитание, подобающее людям их расы и веры, как уберечь их от печали и обычного для этой страны зрелища смерти. При этих мыслях к телесному недомоганию прибавлялась тоска по родине, по прямым и честным в делах людям, которых она знала в своем

городке, по чистой простоте их жизни.

В Ханчжоу не было врача, поэтому с приближением родов они с Эндрю поехали в Шанхай, где и появился на свет ее первенец, и когда он лежал у нее на руках, куда-то ушла телесная и душевная боль и осталась только радость, что родился человек. Это был крупный, красивый мальчик с голубыми глазами и светлыми золотистыми волосами, и любовь к нему охватила ее; в ней проснулось и никогда уже ее не покинуло глубокое материнское чувство. Нельзя не признать, что в годы, когда у нее появлялись дети, вся пылкость ее натуры, все ее помыслы обращались на них и на то, как им устроить дом, и, во всяком случае, на какое-то время, ее религиозный энтузиазм поутих, отступив перед другими заботами.

Когда ребенку исполнилось три месяца, Эндрю было велено сменить одного человека в Сучжоу, а это значило вырвать, хоть и неглубокие, корни, которые они успели пустить в Ханчжоу, и, в сущности, сменить не только город, но и наречие. Для Керри, впрочем, в этом была своя приятная сторона. У нее теперь вместо одной комнаты будет целый дом.

«Дом» этот представлял собой всего три комнаты, расположенные над школой-интернатом, открытой при миссии, причем в одну из них надо было забираться снаружи по узкой винтовой лестнице. Но, что ни говори, у них теперь было целых три комнаты, и из окон открывался вид на прорезанный узкими извилистыми каналами город с его крытыми темной черепицей домами, жмущимися друг к другу под самым невообразимым углом. Рядом со школьным двором была видна величественная пагода. В тени этой пагоды, под гомон играющих во дворе мальчишек, рос, начал с какого-то дня без посторонней помощи садиться, ползать по полу, потом добираться нетвердыми шагами до окна и высовываться наружу ее маленький белокурый американец.

Когда он вырос настолько, что его не надо было больше носить на руках, Керри начала принимать участие в делах школы, директором которой был ее муж. Прежде всего, она взялась наводить чистоту. Ее острый глаз тут же заметил печальные следствия антисанитарии в свисавших у мальчиков с затылка косичках, и она набросилась на них, с яростным рвением втирая в корни волос снадобье от насекомых, безжалостно, невзирая на протесты и крики, отмывая и вычесывая неухоженные головы. Затем она осмотрела у каждого постель и белье, все дезинфицировала, сделав мальчишек чистыми и несчастными.

Эндрю, который пекся об их бессмертных душах, думать не думал о всяких там клопах и вшах. Керри, погруженная в заботы о

чистоте, видела, как он молится с тем или иным непокорным подростком, и замирала, удрученная мыслью: «Насколько он лучше меня! Как могу я настолько забывать об их душах!»

И она быстро начинала молиться: «Господь, не дай мне забывать, что душа важнее тела».

Но в следующий момент ее уже отвлекала от праведных мыслей необходимость заказать рис и овощи для столовой, или объявлялся какой-нибудь маленький болезненно бледный мальчик, и его надо было уговорить выпить немного молока, от которого того с его восточной души воротило, или у кого-то обнаруживалась чесотка на руке, и надо было бежать за серной микстурой. Души были важнее, в этом не было сомнения, но тела требовали забот безотлагательных.

Ее горячее стремление быть людям в помощь заставило ее приняться за медицинские книги, которые ей удалось купить в Шанхае, и каждый день она часть времени проводила в своей импровизированной клинике, где врачевала несложные недомогания, перевязывала кожные язвы и воспаления и давала советы матерям, как лечить их младенцев. Она научилась вскрывать ужасные карбункулы и лечить распухшие гангренозные ноги. Когда ее плоть настолько не могла преодолеть отвращение, что приступы тошноты мешали ей есть, ее выручало чувство юмора. Она не могла удержаться от улыбки всякий раз, когда какая-нибудь ее пациентка с тайным сомнением взирала на таблетку хинина: как такая маленькая штучка может избавить от столь ужасных вещей, как хронический кашель и лихорадка, от которых человек желтеет и умирает? Тогда она стала, пряча лукавую улыбку и не произнося ни слова, растворять таблетку в горячей воде, давать наполненную до краев горькой жидкостью чашку старухе, и та, попробовав отвратительный на вкус напиток и увидев, как много его получилось, успокаивалась и выпивала чашку до дна, не сомневаясь больше в скором своем выздоровлении.

Но главным вознаграждением за отвращение и ужас при виде запущенных болезней была радость, охватывавшая ее всякий раз, когда страшные язвы затягивались и здоровье возвращалось в бескровные, истощенные тела. Это было достойной наградой. В этом было ее торжество.

* * *

В этот год брат Керри Корнелиус прислал ей орган — нормального размера орган фирмы Мейзон и Хемлин, в точности

такой, какой стоял в гостиной у них дома. Он был удивительно благозвучен, ибо Корнелиус сам его заботливо выбрал, и его тонкий слух помог ему найти самый лучший. Его целых полгода везли через Средиземное море. Он прибыл субботним вечером, и Керри не могла ни есть, ни пить, пока они с Эндрю не вынули драгоценный инструмент из ящика. Вот он тут, ее собственный орган! Она была до глубины души тронута и, благоговейно опустившись на стул, заиграла один из хоралов, который они пели все вместе дома, — «Я знаю, что Спаситель мой жив», и вот ее богатый, звучный голос радостно взвился и вознесся над дворами и домами, и люди замирали на сумеречных улицах, вслушиваясь в дотоле неведомые им звуки. Затем она спела гимн по-китайски, и тут вошел слуга, остановился в тени полуоткрытой двери, и, когда она увидела по его лицу, как внимательно он слушает, ей вдруг пришла в голову радостная мысль: а что, если именно это дарование поможет ее служению Господу.

С тех самых пор орган стал для нее живым существом, и по сей день есть люди, которые вспоминают о том, как она, забыв снять фартук, оставив домашние дела, садилась за инструмент и ее сильные пальцы извлекали из органа звучные аккорды, лившиеся над городом вместе с ее звонким голосом. Во всех скитаниях, уготованных ей судьбой, этот инструмент следовал за ней, и, когда она жила в крытой соломой мазанке, он стоял на деревянной подставке, предохранявшей его от сырости, шедшей от земляного пола, но при этом в таком месте, чтоб ей было удобно раз шесть на дню подбежать к нему и заставить его звучать.

* * *

На следующее лето она опять ждала ребенка, и, поскольку у нее не все было в порядке, они провели это время в Шанхае, поближе к врачу. Когда же они собрались в обратный путь, с Эндрю случился сильный солнечный удар, и переезд пришлось отложить. Керри неусыпно была при нем, поскольку доктор сказал, что его жизнь зависит от того, удастся ли его выходить. Эдвина, своего маленького сынишку, она отослала в Сучжоу с подругой, а себя целиком посвятила спасению мужа.

В течение шести недель он находился на пороге смерти, и все эти шесть недель Керри ни разу не разделась на ночь, и только утром, чтобы как-нибудь освежиться, принимала ванну и снова садилась у постели Эндрю, чтобы смотреть за ним. Доктор восхищался ее жизнестойкостью. В эти жаркие влажные дни

позднего лета и ранней осени она была в безукоризненно свежем белом платьице, на шее — лента, блестящие волосы вымыты и завиты, в сердце спокойствие и решимость. Нет, она ни за что не допустит, чтобы Эндрю умер в начале избранного им жизненного пути. Надо было думать и о не успевшем еще родиться ребенке. Ради него она не имела права позволить себе какие-либо страхи и беспокойство. Большую часть времени Эндрю был в бреду, и она с помощью слуги поднимала его, обтирала холодной водой, и он успокаивался. Его выздоровление было ей наградой, хотя болезнь так ослабила мышцы его рук и плеч, что у него навсегда осталась скованность движений.

С приходом осенней прохлады они вернулись в Сучжоу, и там родилась ее первая дочка — Мод. Она была маленькой, толстенькой и прехорошенькой, с очень светлой кожей, карими глазами и белокурыми локонами. Для Керри и ее двух детей эта зима была счастливой. Эдвин удивительно быстро рос, он научился говорить и петь, и для Керри было огромной радостью уложить девочку в колыбельку и, подозвав Эдвина к органу, начать какой-нибудь гимн. Малютка слушала с широко открытыми глазами, а у Эдвина обнаружился ясный, мелодичный голосок.

Керри была самой веселой матерью, какую только можно себе представить. Она понабрала из своих немногочисленных книг и журналов (а частью и просто выдумала) разных стишков и песенок и наполнила жизнь детей радостью, так что потом, когда они повзрослели и, оглядываясь на прошлое, осознали, в каком узком и замкнутом мирке прежде жили, они поняли, как много возместило им соседство этой богато одаренной натуры. Ее жизнерадостность частью шла от душевной наполненности, частью же была результатом осознанного желания оградить детей от окружавшего их Востока, который был слишком прекрасен и слишком печален для детских сердец. Ее всегда угнетала восточная несдержанность во всем, будь то страдания или какие-то страсти. А она не хотела, чтобы дети так рано познали и то и другое. А красоты Востока пусть они воспримут столько, сколько доступно их душам. Она поднимала на руках малютку перед окном, чтоб та могла услышать прелестный серебряный перезвон колокольцев на пагоде, но она же завесила нижнюю часть рамы сборчатой занавеской, чтобы Эдвину не было видно сидящего целый день у подножья пагоды нищего, чьи нос и щеки были съедены проказой.

В эту зиму она почти целиком посвятила себя детям, и, по мере того как крепло в ней материнство, все глубже проникала в глубины своей души. Она снова размышляла о Боге. На

протяжении многих лет она ждала, да так и не дождалась, божественного знамения, из которого бы явствовало, что Господь одобряет ее. Порою ей казалось, что отзывчивость ее сердца не имеет другого источника, нежели ее собственные сердце и страсти. Бог ни разу не снизошел до нее, ни разу не обнаружил себя каким-нибудь звуком или движением. Но спустя некоторое время она стала думать, что постижению Господа ее учат собственные дети — через свою зависимость от нее, личики, обращенные к ней, дабы уловить ее настроение, и ручки, не желающие отпустить ее руку, и она до конца своих дней говорила: «Они научили меня куда большему, чем я их!» Она впадала на некоторое время в задумчивость и продолжала: «Мне кажется, мы понимаем цели Господни не больше, чем мои дети понимали мои, даже те, что касались их самих. Они всю жизнь доверяли мне, не сомневались в моей любви и поэтому старались убедить себя, что я лучше их разбираюсь во всем на свете. Я думаю, именно такими глазами должны мы смотреть на Бога — просто верить в него и в его заботу о нас».

Это и была та вера, к которой она пришла.

* * *

Приближалась весна, и она с ужасом обнаружила, что опять ждет ребенка. Это значило, что крошку Мод придется отнять от груди как раз перед наступлением невыносимой летней жары. Она, как сумела, проделала это, не имея под рукой ни книг, ни бесчисленных вспомогательных средств, которые есть сейчас в распоряжении матерей.

Несмотря на все ее предосторожности, ребенок от произошедшей перемены заболел, и Керри в панике решила, что, если они не переберутся в какое-нибудь более холодное место, крошка не переживет лета. Поэтому они с Эндрю отправились по Китайскому морю в Японию и провели остаток лета на небольшом японском островке. Эндрю, по обыкновению поглощенный работой, разъезжал повсюду с местным миссионером, Керри же проводила все время с детьми. Они день-деньской были на берегу залива, где чистые морские волны с мягким рокотом накатывались на прибрежный песок, поднимаясь до самой его кромки, заросшей елями, и Эдвин то и дело бросался в воду и выскакивал на берег, он загорел и окреп, и даже маленькая Мод, осмелев, опускала ноги в теплые неглубокие волны и набирала полные кулачки песка. Ей было лучше, хотя она не до конца поправилась, ибо свежего молока

достать было негде, а сгущенное было для нее слишком жирным и сладким, и она его не усваивала. К концу лета она была по-прежнему слабой и худенькой, но живой, живой, и Керри, полная благодарности, стала готовиться к обратному переезду. Эндрю уже не терпелось вернуться к своим делам.

Путешествие по бурным китайским морям на колесном пароходике было тем более тяжелым, что еще налетел тайфун. Казалось, их суденышко, затерянное между высокими волнами, еще до рассвета пойдет ко дну. Керри ужасно себя чувствовала и была не на шутку напугана, но и этот страх, и морская болезнь были ничто, но сравнению с боязнью за маленькую Мод, у которой в первую же ночь началось сильное расстройство желудка, угрожавшее жизни. Керри, измученная тошнотой и страхом за нерожденного ребенка, шатаясь, носила девочку на руках по маленькой каюте, а судно бросало то вверх, то вниз. Эндрю в ужасе молился, но помочь не мог, потому что дочка к нему не шла. В закрытой каюте становилось все более жарко и душно, и под конец Керри выскочила из каюты и, цепляясь за поручни, поползла по лестнице на верхнюю палубу — пусть ее смоет волной, только бы не слышать, как тяжело дышит ее дочка. Там один из пассажиров увидел, в каком она состоянии. Это был старый миссионер доктор У. А. Мартин; он осторожно взял крошку из ее рук и начал ходить с ней взад-вперед. Он сразу понял, что младенец умирает, и с нежностью и грустью вглядывался в маленькое личико, которое постепенно смягчалось и лишалось выражения.

На борту этого японского суденышка не было врача, и когда Керри увидела, что должно произойти, ее охватило отчаяние. Она кинулась в каюту и, полная муки, с молитвой на устах опустилась на пол. Если Господь намерен что-нибудь ей сказать с небес, пусть это произойдет сейчас, да-да, сейчас! Эндрю, погруженный в тихую молитву, не мог стерпеть того, с какой горячностью она докучает Богу, и мягко ее упрекнул, но она обернулась к нему вне себя от ярости.

— Ты не вынашивал этих детей! — кричала она. — Ты понятия не имеешь, что значит посвятить жизнь ребенку и видеть, как он умирает. Ведь это я сама умираю! — И она с новой силой набросилась на него. — Если б я не забеременела так скоро, я бы выходила ее за лето и спасла. О Моди, Моди!

Она побежала обратно на верхнюю палубу, где милосердный старик стоял, не двигаясь, крепко уцепившись за поручни, ибо ветер бросал корабль взад и вперед. Он накинул на личико девочки угол одеяла и с благоговением ждал, когда приблизится мать. Затем он шагнул к ней и протянул маленький, легкий,

неподвижный сверток.

— Дитя мое, — сказал он мягко, — девочка вернулась к Господу, который дал ее тебе.

Керри безмолвно приняла малютку из его рук. Это был первый настоящий удар судьбы, и она бессильна была что-либо предпринять. Ей нужно было только побыть одной. Она не в состоянии была кого-либо видеть, особенно Эндрю. Она подошла к краю палубы, открыла дверцу, что вела на корму, и, проскользнув в нее, уселась на груде свернутых канатов. По морю перекатывались огромные черные волны, подсвеченные свинцовым мертвенным светом пробивающегося восхода. Ее окутали пенные брызги. Она обернула ребенка своей юбкой, а потом приподняла одеяло и глянула в маленькое личико. Оно было белым, уже застывшим в вечном покое.

— Она умерла от голода, она умерла от голода, — прошептала Керри.

Облако брызг обрушилось на них, и Керри прикрыла ребенка. Как она ненавидела это море, как она ненавидела его простор, его волны, его бесчувственность! Нет, уж во всяком случае, она не позволит бездне поглотить это дорогое тельце. Она отвезет его обратно в Шанхай и похоронит в земле, где лежат другие белые люди.

Над ревущим серым морем нависло серое небо. Ну, где он, этот Бог? Что толку молиться, что толку просить о знамении? Она с вызовом обняла ребенка и припала к палубе, глядя на море. Потом у нее вырвалось рыдание. Даже при том, что с ней случилось, она не может избавиться от морской болезни. Она сидела с мертвым ребенком на руках, а ее безжалостно одолевала тошнота, и ради того, чтобы выжить, она вынуждена была ей поддаться.

Она поднялась, голова у нее кружилась, но она все-таки вернулась на палубу, ощупью добралась до лестницы. Цепляясь за нее одной рукой и в то время другой крепко прижимая к себе ребенка мало-помалу доползла до каюты. Ветер растрепал ее длинные темные волосы, они были мокрые от брызг. Эндрю стоял у крепко задраенного по случаю шторма иллюминатора. Но он ничего не видел, ибо каждую секунду темная вода разливалась по стеклу, словно корабль шел под поверхностью моря.

Он обернулся к ней, лицо его было спокойно.

— Такова Божья воля, — мягко сказал он.

Но она откинула со лба темные мокрые пряди и крикнула ему в ответ:

— Не говори мне о Боге! — И вдруг громко разрыдалась.

* * *

Дни самой тяжелой скорби, наконец, миновали, и она обрела способность примириться с этой смертью, хотя всякий раз, когда она вспоминала о ней, у нее в груди возникала тупая боль. Они вернулись в свой дом, стоявший в тени пагоды, и она мужественно принялась за исполнение своих прежних обязанностей — учила Эдвина читать, опекала школьников, давала им уроки пения, истории, арифметики, географии и других предметов, без знания которых современному человеку не обойтись, и этим стремлением идти в ногу со временем ее школа отличалась от здешних старых классических гимназий. Дом у нее всегда был чист и ухожен, она пекла черный хлеб, делала масло из молока речного буйвола, которое они наконец-то смогли покупать, и еще сотней дел заполняла свой день. Но, что бы она ни делала, стоило ей услышать позвякивание раскачиваемых ветром колокольцев на пагоде, она тотчас шла закрывать окно. Она была довольна, когда два месяца спустя Эндрю неожиданно направили обратно в Ханчжоу, на освободившееся там место. Для нее было облегчением вернуться туда, где Мод никогда не жила и где ничто не напоминало об этой короткой жизни.

С этого времени Керри стала больше участвовать в работе Эндрю. Бог не приблизился к ней, но она уже не думала о нем с озлоблением. Оно прошло, ибо было бесплодно. Ныне она была даже способна произносить время от времени «да исполнится воля Твоя» и не чувствовать при этом, как все в ней восстает против этих слов. Она снова старалась обуздать свою пылкую, страстную натуру. Это была привычная ей борьба. Размышляя о случившемся, она старалась увидеть в этом испытание, посланное ей Господом. Возможно, Бог хотел помочь Керри и забрал у нее ребенка, потому что счастье, которое принесло его появление на свет, пометало ей думать о Всевышнем. Возможно, ее выведет на истинный путь печаль, поскольку радость не могла этого сделать.

Она старалась приучить себя к этой мысли и начала часто ходить в маленькую беленую часовенку с дверьми, распахивавшимися прямо на людную улицу, разговаривала там с женщинами и пыталась учить их чтению. Было приятно, что некоторые из них ее помнят, и сердце ее согревалось при виде их дружеских лиц. Когда одна из них сказала: «В этом году я потеряла ребенка», — глаза Керри наполнились слезами, она схватила смуглую руку китаянки и крепко сжала в знак сочувствия.

Но эмоциональные перегрузки всегда сказывались на физическом состоянии Керри. Когда она ощущала себя

несчастной, силы покидали ее, и этой зимой она страшно исхудала и ослабла. Весной у нее родилась девочка, но даже это не вернуло ей веселья. Ее руки слишком хорошо помнили первую дочку. Она взяла на руки своего ребенка спокойно, с любовью, но без радости. Новорожденная, которую она назвала Эдит, отражала состояние материнской души и была серьезна, спокойна, не по возрасту терпелива и даже во младенчестве всегда отличалась необычайно развитым чувством ответственности и готовностью чем-то пожертвовать.

Летом они все перебрались на гору, достаточно близкую от города, чтобы Эндрю мог по-прежнему вести церковные службы и учительствовать, и все же достаточно от него отдаленную, чтобы не дышать влажным жаром застоявшихся в согретой солнцем воде рисовых полей. На вершине горы был расположен монастырь, в котором они сняли две комнаты.

Для Керри все здесь было в новинку. Спокойная неподвижность зарослей бамбука и елового леса, молчаливые монахи, такие величественные в своих серых одеждах, темные, прохладные залы монастыря, где вдоль стен расположились дремлющие неподвижные боги, — все это открыло ей еще одну сторону жизни этой великой и многоликой страны. В центральных залах высились фигуры богов-исполинов, но в комнате, где она спала вместе с детьми, из стенной ниши на них кротко глядела маленькая золоченая богиня милосердия. Эдвин называл ее «милая золотая леди», и Керри сочиняла для него истории об этой элегантной, похожей на нарядную куклу «леди» в развевающихся одеждах и все больше проникалась добрым чувством к этой богине, терпеливо взиравшей на непривычные белые лица.

Когда дети спали, Керри, обмахивая их веером, размышляла о том, какая странная у нее жизнь: ведь это ее дом стоит где-то на перекрестке бескрайних полей и ясно очерченных сельских дорог, за овеянными ветром дальними холмами и облаками над ними. Неужели это она сидит сейчас у постели своих детей в темной комнате китайского монастыря и смотрит сквозь круглое окно на мощеную дорожку, ведущую к большой кадильнице, четко выступающей на зеленом фоне бамбуковых зарослей. С утра до ночи и с ночи до утра через размеренные промежутки времени раздавался одинокий гулкий звук монастырского колокола — странная, мистическая музыка, наполненная людской печалью, и так же гулко доносилось с холмов его эхо.

Вдруг ей стало страшно. Она схватила своего сынишку и от души поклялась, что не позволит этой странной земле омрачить жизнь маленького американского мальчика или кого-либо еще из

ее детей. Отныне главной ее заботой будут беседы с ними о родной стране, о справедливой, замечательной Америке, где люди верят, что Бог — это свобода духа, а не пугающие аляповатые идолы из раскрашенной глины.

И теперь, как только монахи заводили на заре свои грустные песни и ее маленький Эдвин, растревоженный нарастающей силой человеческих голосов, сливающихся в печальной тягучей мелодии, бежал к ней и прятал голову у нее на груди, она, чтобы успокоить его, говорила самым естественным, обыденным тоном: «Они так поют свои гимны, мой дорогой. Не бойся. Мы ведь тоже поем гимны, но по-своему. Разве ты не слышал?»

И, прижавшись щекой к его щечке, она легонько заводила: «Люблю рассказывать историю Иисуса и его любви» — а потом переходила к озорной детской песенке. Скоро монастырская комната наполнялась ее ясным, звонким голосом, он словно окутывал малышей, вселяя в их души уверенность и надежду. Печальное пение монахов почти заглушалось теплыми, радостными звуками ее песен. А напоследок она обычно запевала «Пою тебе, страна моя, страна моя свободная». Эдвин радостно выкрикивал с ней слова песни — первой, которую он заучил от начала и до конца.

Но ее здоровье было подорвано постигшим ее горем, и, несмотря на все старания, ей не удавалось вернуть свою былую жизнерадостность. Неподвижный, без ветерка, воздух действовал расслабляюще, и комары тучами поднимались с залитых теплой водой рисовых полей. В те дни еще не знали, что комары разносят малярию, и Керри не обратила внимания на донимавшие ее приступы жара, сменявшиеся приступами озноба. Да еще Эдвин заразился дизентерией и несколько недель был бледным и слабым.

* * *

Год, что прошел после рождения третьего ребенка, не обошелся без новых трудностей. Эндрю и Керри было велено вернуться в Сучжоу. В их доме в это время поселился недавно приехавший в миссию молодой врач, на которого так тяжело подействовали зрелище невыносимых человеческих страданий и безмерность стоящей перед ним задачи, что, еще до того как он окончательно повредился в уме, стало очевидно, что он на грани безумия. Керри первая заподозрила неладное и жила в напряженном ожидании беды.

В один прекрасный день, в конце трапезы, когда Эндрю уже

поел и ушел из дому, доктор Фиш извлек из кармана пузырек с таблетками и поставил его перед Керри.

— Миссис Стоун, — сказал он убедительным тоном, — вы уже давно нездоровы. А это лекарство заставит вас выздороветь в одно мгновение. — У него вырвался какой-то резкий странный смешок, и Керри почувствовала, как по ее спине пробежали мурашки.

— Но я сейчас отлично себя чувствую, доктор Фиш, — ответила она в удивлении и начала подниматься со стула.

Однако он схватил ее за руку и сказал низким, хриплым голосом:

— Прими их, прими их все до единой и все сразу!

Керри мгновенно поняла, что перед ней сумасшедший. Сообразительность ее не покинула. Она спокойно ответила: — Конечно, конечно, мне только надо налить воды, — и, взяв со стола пустой стакан, неторопливо вышла из комнаты.

Переступив порог, она кинулась к Эндрю. Тот читал внизу проповедь людям с улицы, которых набилась полная комната, но, услышав от запыхавшейся Керри о случившемся и представив себе, что может произойти с детьми, когда сумасшедший ее хватится, немедленно поднялся наверх. К счастью, из них двоих он был сильнее и выше и после короткой схватки одолел юного доктора, которого застал под столом с кухонным ножом в руках.

На следующий день Эндрю усадил сумасшедшего в китайскую джонку и, ни днем ни ночью не спуская с него глаз, отвез его в Шанхай, где отдал на попечение одного американца, возвращавшегося в Соединенные Штаты. Временами доктор был в здравом уме, понимал все, что вокруг него происходит. Услышав однажды, как американец, его опекавший, говорит пассажирам, что он умственно неустойчив и они не должны волноваться, если какие-нибудь его действия когда-то покажутся им странными, доктор немедленно принялся расхаживать среди попутчиков, объясняя им с хитрецой, что он везет домой товарища, который сошел с ума. В течение нескольких дней пассажиры и команда были в недоумении: кто из них двоих сумасшедший?

Этот случай неожиданно выбил Керри из колеи, и она почувствовала себя совсем разбитой. Она, наконец, заметила, какие ее одолевают кашель и лихорадка, на что прежде старалась не обращать внимания. Они отправились в Шанхай, чтобы найти там врача, и тот сказал, что у нее туберкулез и ей следует немедленно вернуться в Америку.

Вернувшись в маленькую темную комнату пансионата при миссии, она постаралась взять себя в руки и обдумать, как ей быть. В какой-то момент у нее промелькнула радостная мысль:

«Теперь я имею полное право вернуться домой!» Но потом она представила побледневшее лицо Эндрю, пораженного этой новостью. Да, она сразу вспомнила его лицо. Он и сейчас, сгорбившись, сидел к ней спиной. Она спокойно сказала:

— Эндрю, я не поеду домой.

Он спросил, минуту помедлив:

— А что еще нам остается?

Она со страстью ответила:

— Я не отниму у тебя любимого дела. Никто не скажет, что я помешала тебе. Мы поедем в Северный Китай, в Чефу, снимем там дом, ты сможешь читать свои проповеди, а я и сама сумею выздороветь.

Она увидела, как его плечи расправились. Он повернулся к ней, облегчение читалось в его глазах и голосе:

— Ну, раз ты сама так решила, Керри…

Она глянула на него, и боль пронзила ее душу, однако гордость помешала ей продолжать разговор. Понимал ли он, какая ей предстояла борьба? Он готов принять любую ее жертву, но Бог с ним. Ей предстоит бороться в одиночку. И ей впервые в жизни пришло в голову, что на самом-то деле, если не считать миссионерства и детей, у нее было мало общего с этим человеком, да и дети были всего лишь их плотскими узами, ибо Эндрю никогда их не понимал и не любил. Они не были ему неприятны, напротив, но он не воспринимал их как реальные существа. Его жизнь протекала в мистическом единении с Богом и людскими душами но только с душами. В мужчинах и женщинах он видел, прежде всего, их души и редко когда что-то большее. Керри же понимала природу чувств, жизнь открывалась ей в единстве плоти и крови, а что до Бога — где он и что это такое?

Для нее существовал один жизненно важный вопрос. Если из-за нее Эндрю откажется от своего дела, во имя чего они будут жить дальше, какая правда будет их связывать? Она не верила, что, случись такое, он сможет простить ее, как, впрочем, не верила, что ради нее он оставит дело, им избранное. Она принадлежала веку, в котором брак, по крайней мере среди людей с устоями и уж тем более религиозных, почитался чем-то столь же непреложным, как смерть. Она дала обет жить с ним и нести свое бремя. Потому-то в ответ на любые предложения вернуться в родную страну она отвечала: «Нет, мы отправимся на север Китая и посмотрим, не смогу ли я там поправиться. Я еще не в безнадежном состоянии».

Но Керри, когда дело касалось чего-то важного, не шла на сделки с совестью, и, поскольку какое-то время не могла больше

исполнять работу для миссии, она позволила Эндрю взять только половину их скудного жалованья. А потом, распрощавшись со своими немногочисленными друзьями, они наняли джонку и поплыли вдоль побережья. Керри не знала, выпадет ли ей когда-нибудь увидеть этих людей, ставших такими привычными за то время, что они изо дня в день общались между собой. Однако гордость и решимость не позволяли ей выдать, что у нее на душе.

По ее словам, в этой джонке, как водится, кишели крысы, и они всю ночь бегали у нее над головой по низким траверсам, а однажды ночью Керри вдруг разбудила большая крыса, запутавшаяся в ее длинных локонах. Керри запустила руку в волосы, схватила ее и бросила на пол, но когда она почувствовала у себя в руке гладкое, пытающееся вырваться тело, ее затошнило и она испытала такое отвращение, что в эту минуту охотно отрезала бы себе волосы.

В устье реки они пересели на корабль, шедший в Чефу, морской порт на севере, на берегу залива. Но я бы хотела напомнить, что за день до отплытия она увидела в Шанхае, в лавке подержанных вещей, овальный стол и, очарованная его изяществом, выторговала его у скрюченного старика, владельца лавки. Это неприятно поразило Эндрю, для которого стол был просто стол и ничто иное; у них и без того вещей было в избытке. Его бы воля, он взял бы с собой легкую сумку, немного денег и Писание. Но для Керри этот шедевр краснодеревщиков был источником наслаждения, и, когда ее одолевала морская болезнь, она утешала себя тем, что в трюме стоит, во всем своем великолепии, ее стол с тонкой резьбой и безупречно гладкой столешницей.

III

В Чефу они первым делом принялись за поиски дома. Эндрю хотел поселиться у холмов, на повороте дороги, поближе к китайскому городу, но Керри не согласилась. Она так ослабела от болезни, что ей теперь предстояло бороться за самое жизнь, и надо было найти место, которое помогло бы ей в этом поединке. К тому же Эдвин полгода назад перенес дизентерию и все еще не оправился от этой скверной болезни; он страшно исхудал, побледнел и еле держался на ногах.

Когда она рассказывала мне об этом, в глазах ее появились жалость и нежность. «Бедный мой малыш, — говорила она. — Ему была предписана голодная диета, и он все время хотел есть. Как-то раз он увидел кусочки чего-то белого на полу столовой, нагнулся, смочил языком указательный палец, поднял их и сунул в рот. Он решил, что это крошки печенья, и, когда обнаружил, что это всего лишь кусочки извести, отвалившиеся от побелки, горько расплакался. У меня сердце разрывалось».

Она мечтала перенестись вместе с сыном через моря и сушу в свой родной дом, в просторные комнаты своего детства. Но раз уж это было невозможно, она выбрала дом на холме, с видом на море, овеваемый свежим ветром океанских просторов и недоступный зловонию человеческих обиталищ. Эндрю надо было всего только чуть дольше добираться до места службы.

Дом, в котором они поселились, был каменный, в один этаж, с большой террасой; он стоял на скале, обрывавшейся к глубоким, прозрачным голубым водам и набегающим пенистым волнам. Вместе с песчаным садиком его огораживала стена, оберегавшая детей от опасности, но не настолько высокая, чтобы помешать Керри опереться на нее и глядеть вдаль, отдаваясь грезам о любимых берегах за десять тысяч миль отсюда.

С этой поры она посвятила себя спасению собственной жизни. Эндрю не сознавал, насколько она плоха, но она отлично понимала, что боль в боку, постоянный сухой кашель, слабость и лихорадка, не оставлявшие ее ни на день, предвещают недоброе. Она попросила вынести ее кровать на террасу и поставить на кирпичи, чтоб стена не закрывала от нее море и небо.

Справа от нее вздымали свои широкие голые плечи рыжеватые горы, но китайский город, лежавший у их подножия, не был виден. Она этого и хотела. Ей, чтобы не умереть, надо было забыть людные улицы, нищих слепцов и все те печали и беды, которые рвали ей сердце; ей не под силу было всерьез с этим справиться. Но даже здесь, вдали от этого грустного

зрелища, она все же не могла выбросить всего этого из головы.

Эндрю тоже видел этих несчастных, думала она, и молился за них, что и служило ему утешением. Бог спасет их души, на небесах они будут счастливы. Но Керри молилась с чувством, которое было сродни негодованию, ибо большая неправда была уже в том, что небо примирялось с подобными бедами, и никакие молитвы не могли стереть в памяти то, что происходит в земной юдоли. Более того, если Бог, как говорит Эндрю, узаконил такие страдания ради собственных мудрых целей, это отнюдь не облегчало муки трепетной плоти, не зажигало светом слепые глаза, не возрождало к новой жизни людей раздавленных и угнетенных. Но дальше этих сомнений она не позволяла себе идти, а ответ искать было негде. Она боролась с собой, как привыкла за годы молитв в деревенской церкви, и приучалась к покорности.

— Я должна просто верить и не роптать, — говорила она, увещевая свое непокорное сердце.

Но, в отличие от Эндрю, она видела не одни лишь людские души и не могла просто уйти к себе в комнату, помолиться и выйти довольной. Нет, если ее собственное тело не выдержало житейских тягот, то это потому, что ей не терпелось, где она только могла, мыть, перевязывать раны, лечить, давать лекарства больным; если же она видела, что человеку не дано избавиться от боли и смерти, она плакала, словно все это выпало на долю ей самой.

Она при мне просидела как-то всю ночь у постели умирающего младенца и, когда на рассвете ребенок умер, схватила маленькое смуглое тельце и зарыдала от горя и чувства бессилия. Она рассказала об этом Эндрю, и тот, удивленно подняв на нее глаза, спокойно изрек:

— Но ведь свершилась Господня воля, и ребенку лучше на небе, — она же выпалила ему в ответ:

— А ты думаешь, сердцу матери, которая не сможет больше прижать к себе свое дитя, от этого легче? — И тут же, спохватившись, поправилась:

— Я знаю, что дурно так говорить. Я знаю, надо сказать: «На все Господня воля», но это не заполнит опустевших сердец и рук.

Я слышала, однажды кто-то сказал об умершем ребенке: «Тело ничто, когда ушла душа». Но Керри сдержанно возразила: «Разве тело — ничто? Я любила тела своих детей. Мне невыносимо было видеть, как их опускают в землю. Я произвела их на свет, беспокоилась о них, мыла их, одевала, окружала заботой. Их тела были дороги мне».

Для нее, которая по своему добросердечию неспособна была

навредить живому существу, горе и смерть так и остались чем-то непостижимым. С тех пор, как ее воспитали в вере, ей так и не удалось постичь Бога.

Одно из самых глубоких потрясений, выпавших на ее долю, было связано с появлением в ее доме служанки, которая оставалась при ней, пока старость не лишила ту способности трудиться. Эта женщина жила с мужчиной, который не был ей мужем. В то утро, когда у нее родилась дочка, он разбил малютке череп. Керри в тот день как раз проходила мимо злосчастной хижины и, услышав полные отчаяния стоны, сразу уловила своим чутким сердцем, что стряслась беда, а это был для нее призыв немедленно посмотреть, что случилось. Она вошла и увидела мертвого ребенка, мозги которого вытекали на колени матери. На деревянном топчане лежал угрюмый мужчина, он бранился, а женщина сидела в полной оторопи. Ребенок был крошечный, настоящий заморыш, и все равно бы долго не протянул. Керри спросила на хорошо освоенном ею диалекте, что случилось. Мужчина так был поражен ее появлением и так напуган ее яркими, мечущими молнии глазами, что без лишних слов удалился. Керри же, опустившись на колени рядом с женщиной, спросила, что тут произошло, и между собой заговорили две матери. Гнев, переполнявший нежное сердце Керри, излился и на это преступное деяние, и на гнусную руку, его совершившую.

— О бедная малютка! — воскликнула она со страстью, и женщина, смотревшая куда-то поверх мертвого ребенка, неожиданно зарыдала. — Этого человека следует убить, — свирепо добавила Керри.

— Кто посмеет тронуть мужчину? — сказала, рыдая, мать-китаянка. — Мужчина, если захочет, вправе убить девочку. Жаль, что он не убил и меня!

— В любом случае, ты не должна с ним оставаться, — твердо сказала Керри.

— А куда мне идти? — ответила женщина. — Мужчины все одинаковые. Я жила и с тем, и с другим, а они все одинаковые.

Керри почувствовала, с какой неподдельной искренностью говорит женщина, и неожиданно для себя самой сказала:

— Будешь жить у меня. Мне нужен кто-нибудь, кто бы мне помогал и смотрел за моей маленькой дочкой.

Женщина медленно поднялась.

— Я поищу кусок циновки, чтобы ее завернуть, а потом пойду с вами, — сказала она.

Керри не задала ей больше ни одного вопроса. Она приняла ее в свой дом, обучила ведению хозяйства, пыталась даже научить читать, но той это оказалось не под силу. Однако любовь к Керри

побудила ее нежно заботиться об Эдвине и белой крошке. Услышав о Мод, она немного всплакнула. А потом, вспомнив дочку, сказала:

— А все-таки хорошо, что хозяин не убил ее камнем, когда она сосала тебе грудь.

— Нет, такого не было, — ответила Керри с жалостью, чуть слышным голосом. Она тут же поняла, что самое время начать беседу о Боге. — Мы в нашей стране такого не позволяем. И все потому, что, как мы считаем, наш Бог учит нас добру. «Ах, прекрасная моя страна, — подумала она с сердечным жаром, — и добрый Господь, который учит верующих быть хорошими людьми!»

— Я хотела бы узнать о нем, — сказала женщина. Керри не очень уверенно начала ей рассказывать. «В конце концов, разве эта простая женщина не научила меня чему-то большему, чем я могу научить ее, — думала она. — Если люди, которые не знают Бога, уподобляются зверям, значит, Бог существует». Подобные рассуждения укрепляли в ней веру.

С тех самых пор, куда бы Керри судьба ни занесла, женщина следовала за ней; она стала членом семьи и воспитала всех детей Керри и Эндрю. Как-то, много лет спустя, когда дети уже давно любовно подтрунивали над Ван Ама, или, как они ее называли, «другой мамочкой», Керри, помнится, сказала однажды, глядя на эту женщину, успевшую превратиться в сухонькую, морщинистую, седую старушку: «Думаю, Ван Ама не принадлежит к тем, кого принято называть добродетельными женщинами, и, боюсь, она никогда не усвоит как следует Новый Завет. Но я ни разу не видела, чтоб она злилась на кого-нибудь из моих детей, и ни разу не слышала от нее дурного слова, так что, если нет для нее места в раю, я готова разделить с ней свое. Дай только Бог самой туда попасть».

* * *

В Чефу Ван Ама тоже была с ними, она опекала Керри и детей, избавив ее от забот о них и дав ей возможность оставаться в постели. Эндрю, полный религиозного рвения и, подобно святому Павлу, безразличный ко всему остальному, продолжал читать свои проповеди. Керри же отлеживалась на свежем воздухе, спала, читала, ела, и постепенно к ней возвращалось здоровье.

Через полгода исчез кашель, и она могла вставать и по нескольку часов в день, не расплачиваясь за это лихорадкой,

делать несложную работу по дому и саду. Месяцы выздоровления в маленьком домике высоко над безграничным морем, которое одно только и отделяло ее от родной земли, были счастливейшими в эти годы ее жизни. Ей было приятно видеть, что Эндрю целиком отдается любимому делу, она чувствовала прилив сил и жадно впитывала непередаваемую красоту неба, холмов и моря.

Для нас всех было большой радостью, что она снова могла петь, сперва тихо, а потом и в полный голос.

Для детей болезнь Керри имела свою добрую сторону. Она подолгу, с изумлением и гордостью наблюдала за их играми, радуясь их ловкости. Она все время им что-то рассказывала, стараясь, чтобы к ним не пристало кое-что из того, что они видели вокруг себя. И неустанно повторяла: «Мы — американцы. Мы так себя не ведем».

Мы всегда торжественно отмечали четвертое июля. Она сама сшила американский флаг, мы устраивали фейерверк и пели «Звезды и полосы» под орган. Задолго до того как дети увидели Америку, они уже привыкли называть будущий отпуск родителей «возвращением домой».

На закате они часто сидели на берегу залива, глядели на простирающиеся перед ними воды, и Керри говорила с ними о лежащей за океаном земле, родной их земле. Она рассказывала им о большом белом доме, о лужайках и саде и о фруктах, делающихся в лучах солнца и под дождем такими сладкими и чистыми, что их можно есть прямо с дерева. Маленьким белым детям, которым сызмальства строго-настрого запрещали пихать в рот немытые фрукты, чтобы они, чего доброго, не заразились, и которым приводили в пример Эдвина, потому что он все-таки заболел, да так, что на выздоровление ему понадобилось много месяцев. Для них все это звучало как рассказы о райских кущах. Для ее детей до конца их дней Америка оставалась волшебной страной, где можно пить сырую воду и есть прямо с дерева яблоки, сливы и груши.

* * *

Каждый день, пока не налетел тайфун и море не стало слишком бурным, они ходили на морские купания, и там однажды случилось забавное происшествие, о котором потом рассказывали долгие годы. Руки у Керри все еще были худыми, и как-то утром ее обручальное кольцо соскользнуло с пальца и упало в воду, причем она хватилась его не сразу. Ну а заметив

пропажу, она тут же вернулась на берег, принялась искать кольцо, и все они искали, но без всякого результата. Керри наняла маленького китайчонка, чтобы он поискал в том месте, где она утром купалась, но и он, сколько ни нырял, ничего не нашел. Пополудни она, оставив всякую надежду, решила все же в последний раз попытать счастья; она медленным шагом двинулась вдоль берега, и вдруг лучи заходящего солнца пронзили непотревоженную водную гладь. Дно высветилось, и там, на отмели, поблескивало ее кольцо. Мальчик еще разок нырнул и протянул ей ее колечко, и Керри с торжеством водрузила его обратно на палец. Когда она сообщила об этом Эндрю, он невозмутимо заметил: «Я знал, что ты его найдешь. Я же молился об этом».

Когда спустя много лет она принималась рассказывать об этом случае, дети начинали кричать: «А что, папа и в самом деле помог тебе своими молитвами? А, мама?»

В ее ярких глазах зажигался огонек, и она отвечала: «Возможно. Но если б я еще раз не вернулась на берег, не видать бы мне моего колечка. Молиться, конечно, всегда хорошо, но пройтись лишний раз по берегу не помешает».

* * *

Оправившись от болезни, Керри решила не ждать, пока окрепнет настолько, что они смогут вернуться в миссию, к покинутым Эндрю духовным чадам, а начать зарабатывать деньги. Настало лето, и на море приехали отдохнуть несколько белых. Керри переселила свое семейство в мансарду, пустила в дом отдыхающих и таким образом возместила потерянную по ее вине часть жалованья.

Но еще важнее денег была для нее возможность испытать свои силы. Ей надо было печь хлеб, готовить, стирать, заботиться о дюжине людей, и все самой, если не считать китайца-слуги и Ван Ама, помогавшей с детьми. Она с честью со всем справилась, притом даже, что снова была беременна. Лихорадка и кашель не возвращались, и она поняла, что действительно выздоровела. В конце лета, когда постояльцы уехали, она закрыла свой тихий дом с его песчаным садом, и они возвратились в Южный Китай.

Но она умолила Эндрю не селиться больше в устье Янцзы, где они жили до этого. Она поправилась, но еще не совсем окрепла, и поэтому их направили в срединный район, в расположенный на пересечении реки и Великого Канала порт Чунцин, прославившийся со времен Марко Поло своими грандиозными

храмами, пагодами и оживленной торговлей. Керри мгновенно полюбила его за холмы, поднимающиеся от реки. Но в Чунцине царил космополитический дух, не слишком подходящий для неистового первопроходца Эндрю. Здесь, помимо него, были другие белые миссионеры, он же мечтал об огромных пространствах, где он будет один проповедовать множеству множеств. Он был недоволен жизнью, и Керри не решалась завести собственный сад до тех пор, пока в их миссии не осознали, что Эндрю — прирожденный первооткрыватель и разумнее всего дать ему возможность отправиться, куда он захочет. Он снял для семьи три комнаты над китайской лавкой на берегу реки, а сам нанял джонку и отплыл к верховьям Великого Канала, на север провинции Цзянсу.

Керри снова пришлось устраивать дом для своих детей. Все три комнаты выходили окнами на реку Янцзы, широкую, быструю и желтую от земли, которую она смыла с берегов на тысячах миль своего пути. Шли месяцы, и Керри все больше начинала бояться и ненавидеть эту великую непреклонную реку, такую быструю в верхних теснинах и такую ленивую и угрюмую в нижнем течении, когда она расползается по земле. Для Керри она была символом все затопляющего, Все подавляющего, ненасытного, готового проглотить любую жизнь, осмелившуюся встать на его пути, Востока, которому она пыталась противостоять всякий раз, когда строила дом для своих детей.

Часто она шила у окна и то и дело поднимала голову, чтобы взглянуть на простор этой в медленных и быстрых водоворотах реки. Она видела паромы, неторопливо ползущие на другой берег, видела легкие, похожие на ялики сампуны, дрейфующие по реке подобно листьям, опавшим с деревьев, — противоположные течения временами захватывали их в плен, и от экипажа требовалось немало ловкости, чтобы выпутаться из водной ловушки.

Весной река вздулась от тающих снегов, стекавших с гор у ее истоков, высоко поднялась и стала злой и опасной. Керри больше не хотелось смотреть на нее, ибо на ее глазах переворачивались лодки, забитые людьми, люди барахтались, пытаясь выплыть, но спастись не удавалось никому. Дважды на ее глазах тонули даже паромы, перегруженные настолько, что люди свисали с бортов; они, простонав как большое животное, перевертывались и отправлялись, днищем вверх, вниз по течению. Какое-то мгновение из воды высовывались черные головы, видны были отчаянные взмахи рук, а затем река смыкала над ними свои струи и текла как обычно, и только паром бешено крутился, уносясь все дальше и дальше.

Говорили, что, упав в эту реку, невозможно спастись — такими быстрыми были пересекающиеся течения под ее спокойной, покрытой легкой рябью поверхностью. Каждые несколько дней она увлекала на дно какой-нибудь сампан. Но с непостижимым, чисто восточным фатализмом люди продолжали ходить по этим опасным водам на утлых суденышках. Керри день ото дня все больше ненавидела эту реку, которая губила людей, — тех, кто доверил ей свою жизнь. Она постоянно следила, чтобы Эдвин и Эдит, которые любили смотреть на суда, поменьше стояли у окна, потому что они могли увидеть страшное зрелище — как, отчаянно сражаясь с течением, уходят на дно обессилевшие люди.

* * *

К тому времени Керри научилась строить свой дом всюду, куда ни забрасывала ее судьба, и сейчас она принялась прихорашивать его под боком у этой ненавистной реки. Она побелила эти три комнаты, а местный маляр покрасил пол, оконные рамы и двери. Розовые гардины давно сносились, но она купила в китайской мануфактурной лавке белого муслина, очень похожего на тот, из которого они делали сетки от комаров, и сшила красивые, в нарядных сборках занавески, достаточно к тому же широкие, чтобы надежно закрывать вид на жестокую реку. А поскольку места для сада не было, она прибила за окном ящик из-под молока и потом, прихватив с собой Ван Ама и детей, отправилась на холмы, окружавшие город, накопала отличного чернозема, наполнила им ящик и посадила черенки герани, которые захватила с собой из своего песчаного садика в Чефу, и розы, с которыми никогда не расставалась. Скоро, прежде чем кинуть взгляд на реку она видела яркое разноцветье.

Под тремя комнатами — единственными, что Эндрю удалось снять, — была компрадорская лавка, владелец которой торговал всякого рода завозными консервами и местной снедью, но в первую очередь виски и бренди. В этом портовом городе оптовой торговлей занималась горстка белых, торговцев-китайцев было и того меньше. Главными поставщиками были солдаты и матросы с американских и европейских военных кораблей, заходивших время от времени в гавань. Река была такой широкой и глубокой, что эти большие суда могли подниматься гораздо выше порта. У Керри теплело на сердце, когда она видела, как величественно развевается американский флаг над темной опасной рекой.

И, тем не менее, именно этих своих соотечественников она

научилась жалеть. Они с нетерпением выходили на берег, грубые молодые ребята из разных штатов, хохочущие, играющие мускулами, ищущие, где бы развлечься. Делать им, впрочем, было нечего, и, не зная, чем им заняться, они вваливались толпой в компрадорскую лавку, покупали лежалый шоколад и английские кексы, ну а потом брали, бутылка за бутылкой, шотландское виски. С ночи до утра снизу слышались пение, крики, пьяный плач. Бутылки летели об стену, и сквозь этот шум и гам пробивались тонкие, словно комариный писк, голоса певичек из китайских борделей. Иногда раздавались вопли и рыдания, но, что было дальше, она не спрашивала, охваченная жалостью к этим мальчишкам, оказавшимся так далеко от дома, одновременно радуясь им и стыдясь за то, как ее соотечественники ведут себя перед чужими.

Иногда после подобной ночи она спускалась за покупками в заваленную разбитой посудой и разбросанными товарами лавку, владелец которой с кислым видом смотрел на учиненный разгром. Однажды она спросила его: «Зачем вы продаете им спиртное? Они ведь после этого так безобразничают». Он ухмыльнулся и ответил: «О, что белый люди разбить, я делаю их платить».

Но она никак не могла избавиться от жалости и взялась за дело, которым занималась многие годы. Когда ожидалось прибытие иностранного корабля, она напекала тортов, больших кокосовых тортов с глазированным верхом, воздушное тесто для которых она научилась делать еще дома, в своей прохладной, крытой черепицей кухне, пирогов и печенья и приглашала ребят на чай. У неотесанных, скалящихся от смущения парней, заполнявших три комнатушки, было мало общего с этой культурной, приветливой женщиной. Но для нее это была ниточка, связывающая ее с родной страной, и сердце ее согревалось при виде того, как гости жадно поглощают торты и пироги и вливают в себя галлоны лимонада. Когда они наедались до отвала, она им пела, а иногда они, соскучившись по женскому обществу, просто с ней разговаривали. Когда они уходили, она от души радовалась, что хоть на этот раз удержала их от греха, защитила их и ненадолго вернула в Америку.

* * *

В эту зиму родился мальчик, которого она назвала Артуром. Это опять был голубоглазый, светловолосый ребенок, и она снова ощутила радость, которую дарит новая жизнь. Каждый ребенок

был ей в радость, чего бы его появление ей ни стоило, а Ван Ама тем более была довольна, что родился сын, а не дочь, Артуру исполнилось два месяца, прежде чем его увидел отец — хорошенького, но с первых дней не слишком крепкого мальчика.

В дневнике Керри, который она с перерывами вела все эти годы, я снова и снова нахожу восклицание: «Какое богатство обрела я в своих детях!» Лишенная друзей, которые, конечно же, окружали бы ее в привычной жизни, без мужа, который вечно был в разъездах, она все равно находила радость — в детях, а дети — в ней. Однажды мы слушали женщину, рассказывавшую о своей великой романтической любви, и я уловила в глазах Керри тоску. Но скоро это прошло, и она спокойно сказала: «Моей великой любовью были мои дети».

Эдвин и Эдит обнаружили изрядные способности, и она с радостью откликнулась на их любовь к чтению и пению. Что было главным в ее неустроенной жизни — она не знала, но в эту зиму, когда ничто еще как следует не определилось, она целиком отдала себя детям. У них не было сада, где можно бы было играть, а улица была противной и запруженной людьми, но если выдавалось погожее утро, она быстро разделывалась с домашними делами, брала на руки младшего сына, и они с Ван Ама и остальными детьми пробирались, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, на задние улицы, а оттуда на дорогу, ведущую к холмам. К счастью, идти было недалеко, и они скоро оказывались на тропе, вьющейся среди деревьев и бамбуковых кущ вверх, к зеленому кладбищу.

Эти акры могил, зеленых весной и летом, коричневых и окоченелых зимой, когда траву срезали на топливо, всегда наводили Керри на грустные мысли. Она думала о тех, кто, часто всеми забытый, покоился в этих могилах. В маленьких, жавшихся друг к другу могилах были похоронены солдаты, погибшие на войне, в больших же могилах, обнесенных земляными валами, лежали богатые люди и их домочадцы; каждая была печальна по-своему. Но Керри всегда оберегала детей от всего, что навевало печаль, и малыши весело играли на этих возвышениях, собирая полевые цветы и бегая вверх-вниз по крутым склонам. Позднее, вернувшись на родину, они были поражены тамошними ровными, без всяких могил, холмами и впервые поняли, что в Китае всегда играли над мертвецами. Эта американская мать отгораживала своих детей от тяжелых впечатлений, чтобы им всегда было весело.

Сторона холма, на которой они чаще всего играли, находилась в тени форта, построенного на его вершине; на плацу маршировали солдаты, одетые в красное и синее, и дети любили

смотреть, как они делают выпады копьями и шпагами, и слышать одинокие выстрелы старинной пушки, глубоко погрузившейся в развалины стены, окружающей форт.

У подножия холма некогда была излучина реки. Река постепенно отступала, оставляя за собой плодородную равнину, посреди которой неожиданно для глаза вставал остров, до сегодняшнего дня именуемый Золотым. Изящная пагода, от которой в свое время не мог оторвать глаз Марко Поло, парила над изогнутыми крышами стоявшего на острове монастыря.

Но если дети любили смотреть на бравых солдат и ждать, когда выстрелит смешная маленькая пушка, то их матери больше нравились четкие на фоне дневной синевы или чуть подернутые дымкой поутру и на закате отдаленные горы, острые вершины которых вздымались за рекой. Керри их очень любила — они навевали приятные воспоминания о других горах, окружавших ее родную равнину и поднимавшихся к американскому небу, за десять тысяч миль отсюда.

Опять приближалось лето — пора, которой Керри всегда боялась из-за долгой влажной жары. Зловоние заваленных мусором улиц проникало в их комнатушки. Герань заболела и высохла, розы завяли. Мухи тучами поднимались с груд загнивающих нечистот, дымившихся на жгучем солнце. Горячий воздух тлетворной пеленой нависал над городом. «Не знаю, как это получится, но надо во что бы то ни стало перевезти детей куда-нибудь на холмы», — говорила себе Керри.

На одном из холмов, неподалеку от форта, находилась старая миссия, и в ее дворе Керри после долгих расспросов нашла никем не занятое бунгало. Оно представляло собой квадратный приземистый дом с шестью комнатами — по три с каждой стороны холла — и двумя верандами. Это был почти что райский уголок в сравнении с их комнатушками, выходившими на шумную людную улицу. Они туда перебрались и жили там до конца лета. Иногда ее тревожила мысль, что сороконожки, которых она старательно отлавливала каждую ночь, заберутся к детям в постель, и те заболеют от их ядовитых укусов, к тому же озерца и рисовые поля в округе давали обильный выплод комаров, а содержимое ночных горшков, которое крестьяне использовали как удобрение, порождало тучи мух. Зато можно было смотреть на плодородные долины и на поросшие бамбуком пологие холмы, а жестокая река была в миле отсюда и лежала на горизонте безобидной желтой лентой. Рано утром густой серебристый туман заволакивал низины, и вершины холмов возносились над ним словно зеленые острова. Это было превосходное зрелище, тем более прекрасное, что оно

напоминало Керри о доме, хотя здешние туманы были жаркими и тяжелыми, а горные туманы в Западной Виргинии — резкими, как утренний мороз.

Что ей здесь нравилось больше всего, так это маленькая зеленая лужайка, где могли резвиться дети, и клочок годной для цветника земли. Керри засадила его и вставала рано поутру, чтобы усердным уходом заставить цветы распуститься до того, как с ними придется расстаться. Это был ее первый настоящий садик на китайской земле.

Но лето прошло, и к ним вернулся Эндрю с доброй новостью: он подготовил для них дом в верховьях Великого Канала, в городе Чинкьяне, который на протяжении этих месяцев был отправным пунктом для его поездок. Отсюда он пробирался в глубь страны то верхом на муле, то в тележке, то пешком, неся жителям больших и малых деревень истины своей религии. В Чинкьяне он успел настолько обжиться, что стал присматривать постоянное жилье, и, в конце концов, снял дом у одного китайца и даже его отремонтировал.

Цветы, посаженные Керри, так и не распустились, но, как ни жаль ей было бросать их и бунгало, которое она полюбила, ей пришлось собрать в дорогу детей, и они с Ван Ама погрузились на джонку; после десятидневного, без каких-либо происшествий, плаванья по тихому каналу (причем часть пути джонку тащили на канатах) они достигли старого китайского города, где оказались единственными белыми людьми. Дом, который снял Эндрю, был непривычно большим, с обширным двором. Говорили, что в нем обитает привидение жены бывшего владельца, которую он загубил дурным обращением, и что она появляется в обличии ласки; естественно, никто не желал в этом доме жить, и хозяин был рад сдать его хотя бы иноземцам.

Но как бы там ни было, Керри обрадовалась новому жилищу и, едва ступив на порог, принялась его обустраивать. Чистые побеленные стены, как всюду, где она жила, широкие окна и новые сборчатые занавески, пол, застланный чистыми циновками, двор, засаженный травой, снова цветы: хризантемы, купленные в цветочной лавке, и, там и сям, маленькие веселые красные, розовые и желтые розы — так теперь выглядел ее дом. Когда же были расставлены по местам любимый орган, стол, кровати и немногочисленные плетеные стулья и оборудована кухня, в новом доме повеяло домашним уютом. За стенами с востока на запад пролегала большая, шумная торговая улица, на которой не смолкали крики лоточников и носильщиков портшезов, прокладывавших себе путь сквозь толпу, слышался скрип тачек. Но в их доме и саду царили чистота и покой, и эта американка в

который раз воссоздала кусочек Америки, где можно было худобедно растить детей и куда она частенько приводила китаянок, которые восхищенно вздыхали при виде такой красоты.

* * *

Эндрю открыл по всему городу маленькие уличные часовенки, в окрестностях ему тоже было где проповедовать, паства его пополнялась, и он разъезжал по всему краю, полный рвения. Он уже хорошо овладел языком и даже решился писать брошюрки для своих слушателей.

Керри в этот период своей жизни уже не ездила повсюду за ним, была при доме и при детях, но она довольно часто приходила в часовни со своим крошечным органом, играла и вела своим чистым голосом хор, певший псалмы и гимны, а после проповеди Эндрю старался объяснить китаянкам суть незнакомого им вероучения. Большинство этих женщин были существами забитыми, разочарованными, сумрачными; они устали от жизни, полной горя и лишений, и им претили свои священники-вымогатели. Некоторые из них не могли понять новой веры; и в самом деле, сомнительно, чтобы слова, произносимые Керри, в полной мере передавали смысл, который она в них хотела вложить.

Куда сильнее слов действовали на слушательниц ее искренняя отзывчивость, ее живой отклик на все их жалобы. Она сразу же пыталась «что-то предпринять». Ее прозвали «Американка-помощница», и китаянки все чаще приходили к ней домой. Среди них встречались и такие, кого она видела в первый раз, но кто был наслышан о ней и, поведав о своих печалях, неизменно заканчивал словами: «Мне сказали, вы обязательно поможете, обязательно что-нибудь придумаете».

Ее великое служение в том и состояло, что она терпеливо готова была выслушать их всех. Я помню, как она целыми днями сидела у окна своей маленькой гостиной, ее подвижное лицо было полно сочувствия, и она внимательно слушала хрипловатый неумолкающий голос. Дети могли играть и весело шуметь в саду, она то и дело бросала на них взгляд и улыбалась им, но не переставала слушать с печалью в глазах. Многие из этих женщин были настолько забитыми, что их никто в этой жизни ни разу толком не выслушал, не помог им снять тяжесть с сердца; они готовы без конца пересказывать то, с чем пришли, ибо для них было счастьем выговориться перед внимательным слушателем. Однажды я слышала и такие слова: «Скажи, что мне делать, и я

так и сделаю. Скажи мне, во что верить, и я в это поверю. За всю мою жизнь я не встречала никого, кто обратил бы внимание хоть на одно мое слово, хоть на одну слезу из моих глаз. Отец не любил меня за то, что я девочка, мужу до меня не было дела, сын презирает меня. Всю жизнь меня презирали за то, что я женщина, за то, что я уродлива и невежественна. А ты, американка, чужеземка, выслушала меня. И я буду верить во все, во что веришь ты, потому что должна быть правда у того, кто создал тебя такой, какая ты есть — добрая даже ко мне».

* * *

Это была одна из счастливейших зим, проведенных ею в Китае. Снятый ими дом был невелик, но уютен со своей жестяной печкой, изготовленной по ее указаниям в мастерской жестянщика, с цветами, распустившимися на подоконниках. У нее был особый талант к взращиванию цветов, и они всегда охотно цвели для нее; ее комнаты со скудной мебелью казались бы пустыми, если бы не вся эта растительность, а так они делались гостеприимными и как бы хорошо обставленными. Но снова приближалась весна, а за ней лето. «Хорошо бы никогда не было лета», — думала Керри. Это лето было даже хуже других из-за необычайной засухи. За всю весну не выпало ни капли дождя, и крестьяне, ждавшие паводка, который в сезон дождей заливал рисовые поля, видели, как молодые побеги вянут у них на глазах. Середина лета принесла невероятную жару. Не было надежды, что рис в этом году вообще уродится, и крестьяне, которым грозило остаться без пищи, начали поспешно засевать зерном разбросанные участки.

Керри, всегда чутко улавливавшая смену людских настроений, сразу почувствовала что-то неладное. Очень мало кто приходил теперь в маленькую часовенку, где служил Эндрю. Нетрудно было заметить, что толпы, сперва в нее набивавшиеся, куда-то исчезли — в воскресенье вообще не пришло ни одного человека. На следующий день Ван Ама, вернувшись с рынка, сказала Керри: «Вам лучше сегодня не выходить на улицу». И когда та одолела ее расспросами, неохотно произнесла: «Люди говорят, боги недовольны, что в городе поселились чужеземцы. Такой засухи еще не бывало, а как раз в этом году сюда пришли чужеземцы. Потому, они говорят, боги и сердятся».

Даже Эндрю, ничего не замечавший вокруг себя, кроме того, что напрямую относилось к его Делу, разглядел, какие хмурые, полные враждебности лица становятся у людей, когда он

обращается к ним на улицах или пытается всучить свои трактаты. Раз или два его книжицу просто рвали у него на глазах. В стране, где всякое печатное слово считалось священным, на это нельзя было не обратить внимания. Но Эндрю принадлежал к числу людей, в которых сопротивление только укрепляет решимость, и когда он окончательно убедился, что в городе его знать не желают, то отправился в долгое путешествие по стране, так что много недель Керри оставалась одна с детьми и с Ван Ама.

Как-то в жаркий августовский день она шила у окна. Воздух был тяжелый, душный, и каждый уличный звук усиливался, словно бы отраженный от его плотной массы. Она услышала шепот под открытым окном. Прислушалась. Дурные предчувствия обострили ее слух. Двое мужчин о чем-то втайне договаривались. «Сегодня в полночь, — говорили они, — сегодня в полночь мы взломаем ворота, убьем их, бросим их тела перед богами, и пойдет дождь».

Она быстро поднялась и пошла искать Ван Ама.

— Пойди, послушай, что говорят на улице, — сказала она. — Попробуй разузнать, что они замышляют. И она прошептала ей на ухо, что сама только что слышала.

Не сказав ни слова, Ван Ама надела самое свое плохое платьишко и вышла. Скоро она вернулась, глаза ее смотрели в пустоту. Она старательно затворила все двери, подошла вплотную к Керри и прижалась губами к ее уху.

— Так вот, хозяйка, — выдохнула она, — они собираются убить тебя этой ночью, тебя и детей. Каждый белый будет убит.

Керри посмотрела на нее.

— Ты думаешь, они так и сделают?

— А почему бы и нет? — ответила Ван Ама упавшим голосом. Она поднесла край передника к глазам и медленно вытерла слезы.

— Люди, к которым ты была добра, — пробормотала она, — никто из них не решится тебе помочь. Если они осмелятся, их тоже убьют. Керри молчала, не двигалась, мысли лихорадочно проносились у нее в голове. Ван Ама глянула в глаза белой женщине.

— Но я по-прежнему с тобой, — твердо произнесла она.

Керри подошла к ней и сжала ее загрубелые, смуглые, верные руки.

— Я не боюсь, — спокойно сказала она. Пойду помолюсь Богу.

Она вошла в свою комнату, закрыла дверь и упала на колени у кровати. Сердце ее билось так, что на мгновение ей стало дурно. Неужели этот день положит конец ее жизни и короткой

жизни детей? Она обратилась душой в те туманные высоты, где, как ее учили, обитал Господь, и начала молиться. «Если будет на то Твоя воля, спаси нас, но в любом случае избавь меня от страха». После долгого молчания она продолжила свою молитву: «Если нам суждено умереть, помоги мне первых избавить от мук детей».

Она еще долго оставалась на коленях, думая о том, как ей теперь быть. Потом долго молчала, ожидая. Ответа не было, как всегда, и тогда она встала с колен, и теперь в ее сердце были храбрость и гнев, не позволявшие ей отступить.

— Я не допущу, чтобы кучка невежественных, напичканных предрассудками людей изничтожила меня и моих детей, — твердо решила она, изумляясь собственному спокойствию. Что ж, она по-прежнему готова верить в Господа, хоть он и не удостоил ее ответом, и нечего ей бояться этих людей.

В этот вечер она пораньше уложила детей и сидела себе спокойно с шитьем. Весь день гнев не оставлял ее. «У меня нет ни малейшего желания умереть», — сказала она сама себе твердым голосом. В конце концов она поняла, что ей делать.

Она подошла к окну, не оставляя иголки, а сама все слушала. Приглушенный шум улицы, пробившись сквозь душный, пропитанный пылью воздух, напоминал барабанную дробь. Она напряженно вслушивалась, боясь пропустить сбой в привычном, ритме. Ее слух уловил его около полуночи. Шум усилился и словно бы прилепился к воротам. Час настал. Она встала и чуть слышно позвала со двора Ван Ама, которая тихо сидела в тени:

— Ван Ама, а теперь, пожалуйста, завари чай.

Затем она спустилась вниз, расставила чашки и тарелки на своем овальном столе, разложила по тарелкам кексы. Когда все было готово для пиршества, она тщательно подмела и прибрала в комнате, так что не оставалось ни соринки, и расставила стулья, словно ожидая гостей. После этого она вышла во двор и широко распахнула ворота.

За воротами плечом к плечу стояли люди, лица которых были неразличимы во тьме жаркой ночи. Они отступили назад в темноту, но она сделала вид, что их не заметила и, уж конечно, не испугалась. Она возвратилась в дом, оставив входную дверь открытой, прибавила света в масляной лампе, чтобы он был виден снаружи, поднялась наверх, разбудила и одела детей и свела их вниз. От удивления они не успели даже рта раскрыть, но она заговорила с ними самым естественным тоном, спела им песенку, потом усадила их на циновку, дала им в руки лучшие их игрушки, и они весело стали играть. Потом она снова взяла шитье и села. Ван Ама принесла чай и встала с неподвижным

лицом позади детей.

Шум вокруг дома все нарастал, пока не стало ясно, что это человеческие голоса. Керри могла уже различать от дельные голоса, она легко поднялась, подошла к двери и крикнула:

— Войдите, пожалуйста!

Они были уже во дворе толпа угрюмых, озлобленных чернорабочих с палками, дубинами и ножами в руках, — и звук ее голоса заставил их двинуться вперед. Она снова позвала их добрым, звонким от усилия воли голосом:

— Входите, друзья, входите, дорогие соседи! Я приготовила чай!

Люди застыли в нерешительности. Несколько человек протиснулись вперед. Керри быстро налила чай и вышла к ним, держа, согласно правилам вежливости, чашку в обеих ладонях. Она подала ее высокому, неулыбчивому, голому по пояс человеку, который показался ей вожаком. Он разинул рот от изумления. Покорно взял у нее чашку. Керри, глядя на их лоснящиеся лица, на которые падал свет из широко распахнутой двери, улыбнулась самой своей широкой улыбкой.

— Входите, попейте чайку, — сказала она. — И садитесь, пожалуйста. Мне жаль, что в моем скромном доме не хватает стульев, но все, что у меня есть, в вашем распоряжении.

Затем она отступила к столу и притворилась, что чем-то занялась. Дети перестали играть, и Эдвин прижался к ее боку. Но она нежно их успокоила:

— Чего вы испугались, мои дорогие? Просто люди пришли на нас посмотреть. Такие они смешные, хотят посмотреть, на что похожи американцы. Они никогда не видели американцев.

Сбитая с толку толпа начала с пыхтением протискиваться в комнату, глазея по сторонам, хватая ртом воздух. Кто-то прошептал:

— Странно, почему она не боится?

Керри уловила сказанное.

— А зачем мне бояться своих соседей? — спросила она с хорошо разыгранным удивлением.

Вошедшие принялись разглядывать мебель, занавески, орган. Один из них прикоснулся к клавишам, и Керри показала ему, что надо сделать, чтобы орган зазвучал. Затем она села, тихо заиграла и начала петь по-китайски «Иисус, я люблю твое имя».

Пока она играла, никто не проронил ни звука. Потом люди начали нерешительно поглядывать друг на друга. Один из них пробормотал:

— А здесь ничего такого нет, просто женщина и дети.

— Я пошел домой, — коротко бросил другой и вышел.

Остальные все так же угрюмо слонялись по комнате, а вожак остановился, чтобы посмотреть на детей. Он протянул руку Артуру, и розовощекий добродушный мальчуган, который с первых дней видел вокруг себя эти смуглые лица, улыбнулся и ухватил его за худой темный палец. Мужчина в восторге засмеялся и крикнул:

— А здесь есть с кем поиграть!

Тогда все сгрудились вокруг детей, принялись их разглядывать, обмениваться замечаниями, а потом брать с пола американские игрушки и внимательно их изучать. Керри чуть не померла от страха: что, если какое-нибудь грубое движение испугает кого-либо из детей, и это изменит настроение толпы? Темное лицо Ван Ама, бдительно стоявшей на страже, виднелось у двери. Наконец вожак встал и громко объявил:

— Здесь больше делать нечего. Я пошел домой.

Это был сигнал удалиться. Один за другим, поглядывая через плечо, они двором вышли на улицу. Керри почувствовала вдруг ужасную слабость; она снова села и, взяв младенца на колени, принялась его укачивать. Люди, задержавшиеся в воротах, такой именно увидели ее напоследок.

Когда все ушли, Ван Ама подобралась к ней, схватила ребенка и горячо прижала его к груди.

«Если б кто-нибудь навредил ему, я бы на месте убила собаку», — прошептала она, и Керри увидела ручку кухонного ножа, торчавшую у нее из-за пазухи. Но Керри на этот раз лишь громко рассмеялась и, подняв Эдит и взяв за руку Эдвина, двинулась наверх. Она еще раз искупала детей в прохладной воде и уложила их обратно в постель.

Потом она спустилась вниз и закрыла ворота, отделявшие двор от теперь уже молчаливой, опустевшей перед рассветом улицы. У крыльца она помедлила. С юго-востока подул ветер, предвестник тайфуна. Она прислушалась: ветер пузырил занавески в открытых окнах. Он был свежим, холодным — ведь он нес прохладу отдаленного моря.

Она поднялась наверх, легла в постель и, замерев, прислушалась. Может быть, этот ветер принесет дождь? Целый час она не могла уснуть, потом задремала, но скоро проснулась. Над ее головой слышалась музыка дождя, тринькающего по черепицам и с плеском срывающегося по краям кровли на каменные плиты двора. Она переполнилась радостью, тело ее наконец расслабилось в холодном сыром воздухе. Ужасная ночь… ужасная ночь миновала!

Она встала и подошла к окну. Серый день пробивался над крышами домов, но не было ни души. Измученный недавней

жарой, город спал, и проливной дождь частыми длинными струями лился на опустевшие улицы. Они спасены… Может, это и есть долгожданное Божье знамение?

* * *

Близился конец лета, и Керри облегченно вздохнула. Но ей не суждена была долгая радость: в первых числах сентября у Артура внезапно началась лихорадка. Ребенок накануне упал во дворе в выложенную черепицей канаву и больно ушибся, после чего несколько часов чувствовал слабость, и Керри с беспокойством следила за ним. Но к вечеру он казался таким же веселым, как всегда.

Однако на следующее утро слабость вернулась, и к полудню он весь горел; Керри давала ему простые лекарства, бывшие под рукой, и купала его в прохладной воде, а Ван Ама безостановочно обмахивала его веером. И все же жар усиливался, и к ночи ребенок потерял сознание. После полудня он все время стонал от боли, но был слишком мал, чтобы сказать, где болит, и Керри снова и снова осматривала его маленькое тельце. Когда же губы у него побелели и он, к ужасу Керри, перестал двигаться, она наклонилась над ним с чувством страха и беспомощности. Ван Ама пощупала ножку мальчика.

— Он умирает, — сказала она негромко.

В городе не было белого доктора, но Керри не могла позволить смерти так легко завладеть ее ребенком. Она судорожно обернулась к Ван Ама: «Иди, сыщи лучшего китайского врача в городе, пусть приходит немедленно, скажи, сын умирает!»

Ван Ама мгновенно исчезла и вскоре вернулась с врачом, маленьким, иссохшим, кожа до кости, старичком в грязном черном халате и огромных очках в медной оправе. Он молча, с невозмутимым видом, не глядя по сторонам, вошел в комнату и сразу подошел к маленькой кроватке. Выпростав из рукава грязную, с давно не стриженными ногтями руку, больше похожую на клешню, он осторожно обхватил маленькое запястье большим и указательным пальцами. Он долго сидел гак с закрытыми глазами. Потом встал, вытащил из-за пазухи сложенный четверо клочок бумаги, а из-за кушака — тушь и кисточку и быстро нарисовал несколько иероглифов.

— Пойди с этим в снадобницу, — приказал он Ван Ама. — Принесешь лекарство, завари его в горячей воде и давай ребенку каждые два часа.

Он протянул руку за гонораром и ушел.

Ван Ама отправилась с клочком бумаги в аптеку и вернулась с пучком трав и большим, покрытым ярью-медянкой, зеленым от старости кольцом. Она спешно кинулась готовить отвар, но тут услышала, как Керри зовет ее: «Ама, Ама». Это был крик ужаса, и Ван Ама побежала в комнату больного.

«Мой малютка, мой малютка!» Керри держала его на руках. У него были предсмертные судороги. Ван Ама сразу все поняла; она застонала, схватила с постели вещи мальчика и, держа в руке зажженную лампу, выскочила из комнаты. Мгновение спустя Керри услышала ее голос, доносившийся с улицы: «Дитя, вернись домой, вернись домой!» Снова и снова, все слабее, все отдаленнее слышался этот крик.

Керри много раз в жизни слышала этот печальный клич, и он заставил ее содрогнуться. Не единожды и не дважды она проходила мимо плачущей матери с детской одежонкой и зажженной лампой в руках, и у Керри становилось тяжело на сердце; полная сострадания, она знала, что в этот миг где-то умирает ребенок и мать, в последней надежде, вышла звать назад витающую где-то душу.

Сейчас витающая где-то душа была душой ее собственного ребенка. Она прижала к себе его хрупкое тельце, и тут он в последний раз дернулся и застыл.

На следующий день она послала гонца с наказом сыскать Эндрю, где бы тот ни был, — другой почты тогда не существовало. Ван Ама купила маленький гроб, Керри застелила его куском голубого шелка, который у нее был, они вдвоем омыли этого прелестного златокудрого маленького американца и положили его на шелк, и по их горестному плачу нельзя было угадать, кто из них двоих ему мать. Послали за людьми, которые должны были плотно запечатать гроб, поскольку воздух сохранял еще летнее тепло. Когда это было проделано, Керри села и стала ждать мужа; он приехал следующим вечером, усталый, измученный неожиданным путешествием. Керри встретила его в состоянии отчаянья, но без слез.

— Я должна уехать отсюда, — сказала она. — Я должна увидеть белую женщину — кого-то, кто принадлежит к моей расе. Нужно положить его рядом с другим нашим ребенком в Шанхае. Я не позволю, чтоб мой ребенок лежал здесь один — один в этом варварском городе.

По ее голосу Эндрю понял, в каком она отчаянье, и согласился. Следующим же утром они наняли джонку и по каналу, а потом по реке добрались за четырнадцать дней до берега моря.

Но их никто не предупредил, что в Шанхае свирепствует холера. Не было газет, не было почты, которая могла бы в считанные дни доставить письмо. Прежде чем они попали на принадлежавший миссии грязный постоялый двор, им пришлось пройти по улицам, по которым до них прошла смерть. В первый же день Керри насчитала из окна больше пятидесяти гробов, которые проносили мимо. Она ужаснулась, и они решили не мешкая уехать сразу же после похорон.

Но едва занялся день, когда они должны были пуститься в обратный путь, у Керри начались рвота и расстройство желудка, а час спустя с четырехлетней Эдит случилось то же самое. Эндрю кинулся искать доктора, но никого не удалось сыскать, поскольку были как раз осенние скачки и все белые находились на ипподроме, расположенном на краю города. Промедление в два часа привело к тому, что Керри едва не умерла. Когда врач, наконец, пришел, он немедленно ею занялся и велел Эндрю и Ван Ама делать то же самое с девочкой.

Керри была уже без сознания, но крепкое здоровье снова выручило ее, и она пришла в себя. В десять вечера у нее хватило сил прошептать: «Эдит, Эдит?»

Эндрю, который никогда не мог ничего скрыть от нее, пробормотал: «Мужайся…»

— Не умерла? — выдохнула несчастная мать.

Умерла, — сказал Эндрю потерянно.

На следующий день купили еще один маленький гроб, и Эндрю один проводил его на кладбище, где была заново раскопана только что засыпанная могила маленькой Мод, принявшая и третьего их ребенка. Керри оставалась в постели, у нее не было слез, только горечь: она все пыталась примириться с чудовищной силой, которая способна была так ее обездолить. «Я верю… после того, что случилось, я стану лучше… я буду верить». Но в глубине души, в своем непокорном, неподатливом сердце она со слезами спрашивала себя: «Верить — но во что, скажите, мне верить?»

* * *

После затянувшейся болезни и трудного выздоровления они с Эндрю наняли джонку и отправились в глубь страны. Их дом, где опять был только один ребенок, девятилетний Эдвин, казался теперь непомерно большим и заброшенным. Ей нелегко было занять ребенка и сделать его счастливым. Она хотела, чтоб ее сын вырос мужественным и энергичным, но в спертой атмосфере этих

осиротевших стен ничто и никто не могли ему в этом помочь, разве что она сама, но она была слишком подавлена горем. Сейчас, когда он остался у нее один, она хлопотала над ним со смешанным чувством страха и нежности, что, как она сама знала, могло пойти ему во вред.

Денно и нощно сердце ее надрывала тоска по утраченным детям. У Эндрю оставалось его дело, его обязанности, она же была одинока. Ван Ама была по-прежнему ее другом и помощницей, но теперь Керри было мало общения с этим бесхитростным существом.

Она вернулась к своей прежней работе, исцеляя, когда удавалось, посещая маленькую часовню, но, сколько бы она ни говорила о Боге, сердце у нее молчало и оставалось безучастным. Что знала она о Боге, кроме пустых слов, которым когда-то ее научили? Она больше не уповала на Господа. Только ее руки с привычным проворством исполняли свою работу.

Даже когда она пела свои старые песни, ее начинали душить рыдания. В конце концов ее тело не выдержало напряжения, надорванное не только горестными утратами, но и бесплодными, не оставлявшими ее всю жизнь поисками Бога. Она часто молилась, не в силах расстаться с надеждой на Господа, ибо не знала, во что еще верить, а вера в некое непреложное добро была сутью ее положительной натуры. Но ее молитвы словно бы возвращались к ней, как возвращается эхо от клича, брошенного в пустыне.

И вот Ван Ама, видя, в каком она состоянии, подошла однажды к вернувшемуся из поездки Эндрю и заявила, что ее хозяйка гоже умрет, если он ничего не предпримет, и притом незамедлительно. Эндрю взглянул на жену. Она и правда была печальна, бледна, сильно исхудала, ее черные глаза словно никого вокруг не видели, и это испугало его не на шутку.

— Керри, — сказал он неуверенно, — может быть, нам… Может быть, ты хотела бы на время вернуться домой?

Она безмолвно глянула на него, неожиданно эти черные глаза наполнились слезами. Домой, домой! Только дом может спасти ее!

Уже десять лет минуло с того дня, когда они покинули родную страну, и по всем правилам Эндрю полагался годовой отпуск. Месяц спустя они снова двинулись к морю.

* * *

В Шанхае Керри вдруг овладело несказанное упрямство. Она

неожиданно раздумала ехать домой. Ее истерзанное сердце все еще кровоточило, и она чувствовала, что не в силах будет видеть сочувствующие лица домашних и заново переживать свои утраты. Эндрю, пораженный этой внезапной переменой, обратился за советом к врачу, который порекомендовал перевезти ее куда-нибудь подальше, «чтобы ее окружало все совершенно новое». Этим «совершенно для нее новым» оказались Средиземное море и Европа.

В течение трех месяцев они без особой цели переезжали с места на место, и Керри бездельничала как никогда в жизни. Они высадились в Италии, оттуда перебрались в Швейцарию. Месяц они оставались в неподражаемом Люцерне, ели золотистый мед и смотрели на блестевшие снегом горы, вздымавшиеся над водами самого синего из озер. Это и оказалось нужным лекарством. Красота как ничто помогала восстановить силы Керри, а прекрасные снежные просторы, спокойные, опрятно одетые люди, островерхие церквушки и огромные мрачные соборы действовали на нее исцеляюще. Мало- помалу ей снова начало казаться, что жизнь прекрасна и Бог, стало быть, все же существует, а это значило, что, пусть нескоро, она сумеет примириться со случившимся. Но сейчас она была еще слишком слаба для борьбы. Когда у нее в первый раз отняли ребенка, она ожесточилась, во второй испытала горе, но когда умерла еще и ее прелестная, чудная четырехлетняя Эдит, это разбило ей сердце и она словно бы онемела. Трудная жизнь людей, среди которых она работала, лишь углубила в ней ощущение всеобщего неблагополучия. Ей нужно было убедиться в том, что есть края, где люди живут в довольстве и покое и страдание не так откровенно было заметно.

Потом они поехали на север, в Голландию, где ей не терпелось увидеть Утрехт и старую мебельную фабрику mynheer'a, переоборудованную ныне в соответствии с требованиями времени, но по-прежнему солидную и процветающую. Ей было на редкость приятно показать Эдвину дом и город, где жили его крепкие духом предки, и увидеть, что он начинает ими гордиться. Оторванность от родной почвы, терзавшая ее все эти десять лет, больше ее не мучила; она воссоединилась со своим народом.

Поздней осенью они провели две недели в Англии, и эти дни наполнили ее жадную до красоты душу таким ощущением прекрасного, что она почувствовала, как возвращаются к ней силы, исцеляется разум и она становится прежней Керри. Она избавилась от горестных воспоминаний, и если не решалась пока смело смотреть в будущее, то, во всяком случае, с восторгом и

радостью думала о своей стране и родном доме.

* * *

Могла ли она надеяться, что в минувшие десять лет ничто не потревожит красоту этой тихой равнины? Она снова сидела у окна своей девичьей спальни и не сводила глаз со знакомых окрестностей. Казалось, ей никогда не надоест так вот просто сидеть и смотреть в окно. Сильнее, чем музыка, волновал ее вид покрытых лесом холмов, безмятежных и щедрых пашен, деревенской улицы под раскидистыми вязами и кленами, и как приятно было ей снова пойти в белую церквушку, где по-прежнему служил брат Эндрю, только проповеди его стали немного скучнее, а маленькая его женушка еще более округлилась, все же остальное было как прежде, если не считать того, что прожитые десять лет наложили свой отпечаток на давно знакомые лица.

Дома ее окружали все те, кого она знала и любила: ее отец, белый как лунь, нетерпимый еще больше прежнего и так и не сменивший гнев на милость в отношении к Эндрю; Корнелиус, успевший жениться на темноволосой хорошенькой женщине, много его моложе, которая крутила им, как ей заблагорассудится. Все сестры, за исключением старшей и младшей, обзавелись своими семьями; ну а Лютер — кто бы мог подумать, что этот строптивец станет преуспевающим состоятельным бизнесменом и заведет себе жену и двоих детишек!

Да, вокруг нее были все те же родные люди, все рады были ее приветить; они нежно ей сочувствовали и готовы были снова принять ее в их старый дом, и все же как невозвратно далека была ее жизнь от их жизни! Чувство отчужденности не оставляло ее, и не оставляли воспоминания о непохожих лицах и чужих землях. Она беседовала с родными, она участвовала, как и прежде, в веселых музыкальных вечерах, навещала живущих своим домом сестер, вникала во все их дела, помогала им в стряпне, стирке, уборке и потом, усевшись в легкую коляску, запряженную парой старых лошадей, подолгу разъезжала в их обществе по прелестным, овеянным дыханием осени окрестностям, но часть ее души все время была не здесь, и она поняла, наконец, какая пропасть их разделяет и насколько различен пройденный ими жизненный путь. Они жили спокойно, отгороженные от любых опасностей, на богатой, плодородной новооткрытой земле. Она же хорошо знала другую страну, древнюю страну, населенную, нет, перенаселенную страдающими

людьми, отдающую зловонием чересчур полнокровной жизни — жизни, слишком быстро рождающейся, слишком быстро умирающей, темной, горячей жизни.

Мало-помалу она осваивалась с мыслью, что, как ни мила ей родная Америка, нерасторжимые узы успели уже связать ее и с Китаем — узы познания, узы близости с людьми, подобными Ван Ама, узы кровного родства с тремя маленькими телами, преданными этой древней земле, — бледные их останки смешались с этой темной землей. Нет, эта страна уже не была для нее чужой. В один прекрасный день она обязательно должна туда вернуться — там покоится часть тела ее и души.

Впрочем, в течение нескольких месяцев о возвращении не было сказано ни слова. Замечательная осень прошла — была ли она всегда такой замечательной? Неужели все эти десять лет клены каждый год вот так пламенели? Подоспела зима, а с ней и Рождество, и все сыновья и дочери и дети сыновей и дочерей собрались под крышей большого белого дома. Среди них был и Эдвин, вне себя от радости. Почти потерявший дар речи от возбуждения, он безоглядно несся по этим счастливым дням непрерывного веселья и приволья обширного дома, лесов и полей, наслаждаясь снегом и катаньем на коньках и на санках, — такое ему прежде и не снилось!

— Как мне нравится Америка! — не переставая, восклицал он. Но это восклицание отзывалось в сердце Керри болью. Если она вернется в Китай, не лишит ли она его этой чудесной страны, принадлежащей ему по праву рождения? Но ведь незримые узы связывали ее и с другой страной, где она столько пережила. Нет, она пока не может решить.

После Рождества они навестили родителей Эндрю, живших на ферме, в большом безалаберном доме на реке Гринбрайер. Эти люди были во всем не похожи на ее близких. В еде здесь царила невиданная расточительность, неприятно поражавшая Керри, воспитанную в понятиях голландской бережливости. И это при постоянной нужде в деньгах, хотя на ферме фруктов и овощей было завались. Отец Эндрю оказался высоким, сухопарым, мрачным стариком, с глубоким, выдававшим набожность взглядом, мистическим складом ума и суровым нравом. Говорил он торжественным, замогильным голосом.

Мать Эндрю, напротив, была саркастичной, острой на язык старой дамой. Когда ей исполнилось шестьдесят, она решила, что пора отдохнуть, и, хотя не страдала никакими недугами, стала проводить весь день в качалке или в постели, созерцая мир с этих двух наблюдательных пунктов. Ее жизнь прошла в перебранках с мужем, который, в отличие от нее, спорить не умел и просто орал

громовым голосом, покуда она не умолкала.

Каждый вечер он накладывал поленьев в огромный, сложенный из камней очаг, зажигал огонь и, не проронив ни слова, растягивался на звериной шкуре перед камином, бросая оттуда сердитые взгляды на разгорающееся пламя. О чем ему там думалось, никто ведать не ведал, но во времена, когда люди пуще нечистой силы боялись сквозняков, представлялось большой опасностью ежевечерне лежать у огня. Его глумливая старуха не упускала случая накричать на него: «Ты тут долежишься до смерти!» Или, если это казалось слишком мягким, чтобы рассчитывать на его ответ: «Ума у тебя что у ребенка, раз ты тут разлегся!»

Она не успокаивалась и пилила его до тех пор, пока он не поворачивал к ней голову с нависшими косматыми седыми бровями и, к ее удовольствию, не начинал громыхать: «Умолкни, женщина!» После этого она веселела, замолкала на весь вечер и только время от времени фыркала, когда ее глаза останавливались на нем.

Из этого сурового, безрадостного дома вышли семь сыновей и две дочери, причем все сыновья, за исключением двух, стали проповедниками. Керри этот дом, так не похожий на ее собственный, где все были расположены друг к другу и умели радоваться даже мелочам жизни, казался по меньшей мере странным. Но этот визит, который она постаралась сделать как можно более коротким, помог ей лучше понять Эндрю с его аскетизмом, застенчивостью, глубоко запрятанным душевным огнем и мистицизмом, составлявшим одно из начал его существа.

* * *

Поздней осенью она обнаружила, что снова беременна, и решила не покидать свой старый дом, пока на свет не явится новая жизнь. И она осталась ждать этого дня в своей старой комнате, где и дожила до весны, не желая размышлять о прошлом или о будущем, разделяя с Эдвином радость посевных работ и сбора раннего урожая, упиваясь сказочной возможностью срывать с дерева июньские яблоки и вишню, собирать клубнику и тут же их съедать, пока они еще мокрые от росы холодные и серебрящиеся в лучах восходящего солнца.

Она целиком отдалась этой простой и совершенной жизни, и у нее не было ни малейшей потребности думать о чем-либо другом до самого рождения ребенка. Все, что требовалось от нее в той жизни, доставляло ей радость: стирка под деревьями на

заднем дворе, куда были подведены под большой вяз трубы от ближайшего колодца с чистейшей водой, которую качали из глубины, и где висел на металлическом треножнике котелок; глажка белоснежного белья в холодке большой кладовой с дверью, которая открывалась в сад, откуда доносилось жужжание пчел: взбивание масла, когда можно видеть, как в сливках проступают золотистые зерна и как они понемногу собираются в цельную золотистую массу, из которой формируются брикеты соленого и несоленого масла.

Эдвин был вездесущ; он обязательно желал участвовать и в том, и в другом, и в третьем, но то и дело срывался с места и несся босиком через сад и лужайки, чтобы поиграть со своими двоюродными братьями и сестрами. Для Керри самой большой радостью было видеть, что с лица у него сходит бледность, которую наложил на него Восток, и теперь это рослый, розовощекий, ясноглазый мальчуган, куда более шумливый и веселый, чем она могла вообразить.

Самыми приятными были тихие утренние часы по субботам, когда завтрак в большой прохладной столовой подавался так поздно, что на него поспевал даже Германус. Во всем доме после субботней уборки не было ни соринки, царили спокойствие и благолепие. А в воскресенье, одетые во все самое лучшее, самое свежее, они неторопливо шли в церковь; отец с милой ее сердцу седой головой шествовал впереди вытянувшейся в вереницу семьи; они выходили на тенистую деревенскую улицу и под звучавший для Керри сладчайшей музыкой звон церковного колокола двигались к храму, чинно, обмениваясь дружескими приветствиями с соседями, а потом их ждала несуетная красота тихой святости церкви. Конечно же, Бог есть сейчас его почти что можно было увидеть своими глазами.

Так, мирной жизнью своей и красотой родная земля исцелила Керри. И тогда без всякого знамения Божьего, без какого-либо откровения, простым велением совести чувство своего предназначения снова стало завладевать ее сердцем. Здесь было столько чистоты, красоты и праведности, а там, далеко за морями, жили те, о ком нельзя было думать без слез, те, чьи смуглые руки были праздны по бедности, а тела увечны, — разве могло ее мягкое сердце противиться столь властному призыву?

И без всякого знамения Божьего, без всякого откровения, а, только повинуясь безмолвному велению сердца и зову несчастных, не сподобившихся спасения, она твердо решила: надо вернуться.

* * *

Ее маленькая дочка была дарована ей Господом в ясный летний день, и через час она повернулась в постели, чтобы взглянуть на возвышающиеся над равниной холмы, и от этого зрелища радость жизни снова хлынула в ее сердце. Еще одна жизнь, эта крошечка лежала возле нее — так какое же имя даст она этому своему утешению? Да, так она ее и назовет!

Они задержались дома еще на четыре месяца, пока ребенок не окрепнет, и все это время крошка оставалась в семье центром внимания. Каждый день маленькие кузины с чувством гордости стирали ее вещицы, гладили их, складывали и тотчас относили наверх, и они сладко пахли солнцем и свежим ветром. Все они гордились белокурой и ясноглазой сестрицей: ведь обычно в их семье глаза были темные, а для своей матери, для Керри, Конфорт[5] была еще и воплощенной надеждой.

С этой маленькой Конфорт, говорила она себе, она найдет в себе силы покинуть родную землю; с этой маленькой американкой, рожденной в ее собственном доме, она сможет вернуться в чужие края. Временами она думала о других детских жизнях, дарованных ей и у нее отнятых, и ее охватывал страх, но она знала, что должна уехать хотя бы ради Эндрю, который рвался снова заняться своим делом.

Да, она должна ехать. Неужели смерть троих детей отвратила ее от Господней воли, от его не высказанной вслух воли? Господь разбил ее сердце, но она все равно подчинится его велениям. Она не будет больше просить Бога, чтоб он подал ей знак. Она будет просто верить и повиноваться, а теперь она не может не подчиниться призыву, если не Господа, который не разверз уст своих, то тех, кто живет в другой стране, людей не таких счастливых, не таких удачливых, побитых жизнью. Может быть, этого как раз хотел от нее Господь. Но услышит она глас Божий или нет, все равно она подчинится и «пойдет в мир».

* * *

И снова она поехала по суше и поплыла по волнам. В ее сердце гнездился страх перед морем, и, когда из-за морской болезни у нее пропало молоко и ребенка пришлось держать на искусственной пище, на нее нахлынули страшные воспоминания, однако, хотя девочка была от рождения невелика, она уже умела проявить силу духа, отказавшись взять рожок, и одно из самых веселых воспоминаний Керри связано с Эндрю, который неловко держит в руках бодрого, но упрямого младенца и опасливо кормит его ложкой. На всем пути через Тихий океан так девочку

и кормили — соединенными усилиями Эндрю и стюардессы, оказавшейся, к счастью, доброй женщиной, сразу полюбившей эту улыбчивую, непокорную крошку.

Но малышка, несмотря ни на что, крепла и расцветала, и, когда ее снесли на берег в Шанхае, она была весела и полна энергии, словно и не было путешествия в десять тысяч миль, которое она проделала, хотя ей нет и шести месяцев от роду. Это был как раз тот ребенок, в котором нуждалась Керри, — забавный, толстенький, с чувством юмора, настойчивый и приветливый. Ван Ама знала об их прибытии; она вышла их встречать на пристань, и первое, что увидела Керри, ступив на пирс, было ее сияющее лицо с чуть отвислой нижней губой. Эта добрая смуглолицая женщина кинулась к Эдвину и, к немалому неудовольствию маленького мужчины, прижала его к груди. Потом она приняла на руки прелестную кругленькую девочку, и в этом ребенке для нее словно вернулись к жизни две угасшие девочки; она вцепилась в нее, плача и смеясь. Когда Керри, усаживаясь в коляску рикши, который должен был отвезти их в гостиницу, хотела взять у нее ребенка, она не пожелала его отдать. Что до Конфорт, она восприняла эту любовь как нечто само собой разумеющееся, присмотрелась немного к смуглому лицу Ван Ама и к ее необычным глазам и решила, что этой незнакомке можно доверять.

На берегу они пробыли всего один день — стояли последние осенние дни, в воздухе веяло прохладой, и Эндрю не терпелось снова начать свои поездки. Но Керри все равно выкроила час для того, чтобы пойти на кладбище и посадить на клочке земли, где похоронены ее дети, корешок белой розы, выкопанный ею у веранды родного дома. Со дня отъезда она держала ее аккуратно завернутой в мешковину с землей и мхом и, пока ом и плыли по океану, аккуратно поливала.

— Эти трое малышей никогда не видели свою родную Америку, — с грустью сказала она помогавшему ей Эдвину. — Они родились и умерли на чужбине, и мне приятно будет думать, что хоть какая-то частица Америки и нашего дома укроет и украсит их могилу.

Над могилой росла большая пальма, и под ее сенью расцветала белая американская роза.

А потом они снова отправились в путь — сперва на пароходе по Янцзы, а потом на джонке вверх по Великому Каналу, к старому своему городу Чинкьяню.

В этом доме и в этом саду ожили мучительные воспоминания, здесь была канава, в которой ушибся Артур; она не могла вынести ее вида, засыпала ее землей и засадила цветами. Она старалась

не думать о прошлом. В ее доме было маленькое, веселое, требующее внимания, только что пришедшее в мир существо, был Эдвин, которому надо было давать уроки, была еще одна американская семья, приехавшая пожить с ними, был мальчик, товарищ Эдвина по играм, и милая американка, ее подруга. И кроме этого были те, кто своим молчанием, своим нежеланием говорить о том, в чем они на деле нуждались, — темные толпы, призвавшие ее вернуться на эту землю. В первый раз она сделала это во имя Божие. На этот раз она приехала ради них.

* * *

А теперь, когда я как следует познакомила вас с этой американкой, я вправе вкрапливать в свой рассказ и свои впечатления. Впервые я запомнила ее в нашем доме в Чинкьяне. Конечно, я сохранила об этом времени смутные и отрывочные воспоминания и не очень верю в их подлинность, хотя они четко запечатлелись в моей памяти. Я вижу себя во дворе утром, ранней весной, вокруг цветут розы, высаженные бордюром по краям маленьких зеленых газонов и свисающие фестонами с серых кирпичных стен. Цепляясь за руку Эдвина, я ковыляю по выложенной старым плитняком дорожке. Перед нами маячат большие ворота, отгораживающие нас от прохожих. Ворота на шесть дюймов отступают от земли, и под ними движется нескончаемая вереница ног — босых, в соломенных сандалиях, в бархатных туфлях. Это для меня незнакомый мир. Я останавливаюсь и очень осторожно, поскольку я еще не очень твердо держусь на ногах, опускаюсь на землю и начинаю вглядываться во все, что есть за воротами. Но это не дает мне возможности увидеть что-либо выше полы халата, спускающегося до пят или до колен, иногда загорелые ноги, с натруженными, похожими на канаты мускулами. Это неинтересно, и я снова поднимаюсь, отряхиваясь.

В этот момент она и выходит во двор, та, вокруг которой вращается наша домашняя жизнь. На ней гофрированное белое платье, которым она словно бы подметает траву, а ее курчавые каштановые волосы прикрыты старой соломенной шляпой с красной лентой на тулье, в руках у нее садовые ножницы; она тут и там срезает розы, покрытые росой, и скоро она уже держит в руках целый букет.

Одну изумительную белую розу, огромную, кажется мне, величиной с тарелку, она не спешит упрятать в букет и рассматривает ее. Цветок играет и переливается, весь в

блестящих каплях воды. Под конец она осторожно подносит розу к лицу и вдыхает ее аромат, и, видя ее восторг, я требую, чтобы мне позволили то же самое. Она протягивает мне розу, и я беззаботно погружаюсь в нее лицом. Она гораздо больше и влажнее, чем я думала, и я выныриваю из нее, чихая, хватая ртом воздух, совершенно мокрая, с таким ощущением, будто меня вдруг погрузили в холодный пруд.

Одним летом я, можно считать, почти что ее не видела. Она с утра до вечера лежала в постели, такая маленькая, истаявшая, и только глаза ее казались огромными на исхудавшем лице. Утром и вечером Ван Ама приводила меня взглянуть на нее. Перед этим она обязательно одевала меня в свежее белое платьице и, высунув от усердия язык, зачесывала мои светлые волосы так, чтобы с помощью своего желтого пальца завить кудряшки и проложить идеальный пробор. Когда она закрывала рот, я знала, что дело закончено и я могу двигаться дальше. В это лето Ван Ама запомнилась мне больше прочих домашних. Она купала меня, кормила, мурлыкала мне самые занятные китайские песенки, начиняла мою память китайскими стишками, ругательски ругала меня за непослушание и дважды в день готовила меня к заведенному по недавнему обычаю посещению комнаты той, другой женщины, белой.

Много лет спустя я узнала от Керри, что она болела тогда тяжелой формой дизентерии и три долгих месяца — все жаркое лето — провела в постели. И хотя Эдвин был уже большим мальчиком, Конфорт-то было всего два годика, и ей пришлось, говорила она, поручить детей Ван Ама. Она очень боялась за девочку, но Ван Ама дважды в день приводила ее к ней, всегда свеженькую, чистенькую, в опрятном платье, хорошо причесанную и завитую, и личико у нее было счастливое и добродушное.

В городе тогда не было врача, но получившая медицинское образование приятельница Керри, англичанка, которой она в свое время сделала много добра, узнав, в каком бедственном положении та оказалась, бросила все на свете, снялась с места и, пожертвовав отпуском, сразу же к ней примчалась и все лето выхаживала ее и лечила. Иначе Керри, которая снова была беременна, наверняка бы умерла.

В сентябре большая жара спала, и одним прохладным ветреным утром у Керри родился сын, которого она назвала Клайд, — темноволосый, голубоглазый крепыш. Керри, взглянув на пухленького здорового ребенка, не могла не удивиться, как ее истощенное тело сумело породить такого цветущего и сильного младенца. Но прохлада и ее исцелила, и ее тело вновь обрело свое великолепие и выносливость.

* * *

В целом же это были для нее счастливые годы. Мало-помалу она возвращалась к своим заботам о людях, снова открыла свою маленькую лечебницу для матерей и младенцев, давала уроки чтения, и опять местные женщины гурьбой шли к ней за советом и помощью. Но и в этих хлопотах она не забывала о детях. Лечебница располагалась в домике у ворот, а уроки и беседы она проводила в той комнате, откуда виден был двор, и она всегда могла выглянуть из окна и посмотреть, как там дети.

На все это шло время после обеда. А по утрам она занималась с Эдвином, уже взрослым, развитым не по летам парнем, и не успела опомниться, как и Конфорт потребовала, чтобы ее учили читать. Трое ее детей росли как на дрожжах, крепкие, славные, сообразительные. Они тонко чувствовали цвет и музыку. Этой американке надо было, полагаясь лишь на собственное чутье и знания, приобщить их ко всему, что несла в себе Америка и что им принадлежало по праву. В первую очередь она думала в это время об Эдвине, который вырос в длинного парня, слишком легко справлявшегося с уроками и всеми ее заданиями, что вряд ли шло ему на пользу. Она не хотела, чтоб у него оставалось время бездельничать и шляться по улицам. Американская семья, на которую она возлагала столько надежд, скоро уехала, и снова только она одна составляла ему компанию. Она постоянно боялась, что не сумеет воспитать детей в американском духе и, вопреки всем ее усилиям, восточная лень, восточное восприятие всего на свете просочатся в их души и расслабят их.

Этот страх стал причиной единственной ее серьезной размолвки с Ван Ама. Заметив, что у Эдвина нет склонности к физическому труду, Керри заставила его каждый день приносить из леса растопку для печки и прибирать в своей комнате. Для Ван Ама это было сущим святотатством. Подумать только — старшего сына заставляют заниматься тем, что положено делать прислуге! Пока семья завтракала, она прокрадывалась в спальню Эдвина, быстро наводила там порядок, и, когда Эдвин возвращался к себе, все у него сверкало, нигде не сыскать ни соринки, и ему уже нечего было делать. Эдвин благоразумно молчал до тех пор, пока Керри сама не обнаружила, как Ван Ама вредила ему своей любовью.

Керри была женщина несдержанная, острая на язык, и она уже в совершенстве владела набором разнообразных китайских ругательств. А уж когда дело касалось воспитания детей, она не терпела никакого вмешательства. Она высказала Ван Ама все, что по этому поводу думала, но кроткая старушка осмелилась все же

извиняющимся тоном возразить:

— По-нашему, просто позор заставлять старшего сына работать. Девочки пускай себе работают, но не сыновья же.

— Вот вам и результат! — закричала в негодовании Керри. — Вот ваши мужчины и вырастают ленивыми скотами, вроде того, у которого я тебя забрала!

Она попала не в бровь, а в глаз, и пришибленная Ван Ама, боязливо съежившись, чуть ли не уползла от нее. Чуть позже Керри, которой в таких случаях сразу же становилось стыдно, постаралась втолковать Ван Ама, что в Америке мальчики и девочки одинаково дороги родителям и навыки им прививают примерно одни и те же — иначе им в жизни ничего не достичь. Но подобные отношения были выше понимания Ван Ама, хотя она никогда больше не спорила с Керри.

В ту пору Керри больше всего старалась дать верное направление своему сыну. В стране, где все окружающие стремились привить ему пиетет по отношению к собственной особе, было непросто научить его уважительно относиться к матери, сестре и приходившим в гости китаянкам. Эдвин был мальчик темпераментный, а к тому же слуги его отличали, и он все время слышал разговоры о том, какое место в семье занимает старший сын, так что Керри трудно было всему этому противиться. Что до Эндрю, то он подолгу отсутствовал, а когда ненадолго приезжал отдохнуть, чувствовал себя слишком усталым, чтобы вникать в жизнь своего сына.

У меня на память об этом периоде ее жизни сохранилась небольшая газета, которую Эдвин, по ее подсказке, выпускал раз в неделю и в одном из номеров которой он поместил удивительно умелый рисунок джонки, выполненный пером и чернилами. Джонка плывет на всех парусах, надутых попутным ветром, — рисунок и правда очень одухотворенный и верный. Выпускать газету надумала Керри, и Эдвин, одаренный литературными и художественными способностями, с восторгом подхватил эту идею. Он повсюду охотился за новостями, рассылал объявления о газете в разбросанные по стране миссии и приюты и действительно нашел немало подписчиков, хотя некоторым из них просто хотелось помочь мальчику сколькими-то пенсами в месяц. Так у него появились карманные деньги, которые, как бы Керри его ни журила, он тратил, боюсь, на такие деликатесы, как жареная китайская лапша, сладкие палочки из кунжута и испеченные в сале кексы, которые продают уличные торговцы.

Да, Эдвин был для Керри постоянной заботой, но он был для нее и радостью. А в жизни Эдвина, как я знаю от него самого, она занимала совершенно особое место. Он запомнил ее как веселого,

изобретательного и азартного товарища его игр и затей. Ее искрящиеся золотыми искорками глаза то и дело зажигались огнем, и она восклицала: «Что я придумала, ты только послушай!»

А выдумок у нее было хоть отбавляй. Она учила его петь и играть на скрипке и всегда с интересом читала страницы из романа и эпической поэмы, которые он пытался написать, хотя и подвергала его опусы строгой критике. Романы она, правду сказать, не жаловала. Однако на самом деле ничто не доставляло ей такого удовольствия, как чтение хорошего романа, ибо в глубине души была удивительно человечна, и все проявления человеческой природы вызывали у нее жгучий интерес, в чем она боялась себе признаться. Но по религиозным канонам, на которых она была воспитана, чтение романов было так же греховно, как танцы и карточная игра, и двойственность ее натуры сказывалась уже в том, что она могла от души смеяться над «Пиквикским клубом», а затем испытывать легкое чувство вины от того, что сочла этот роман забавным. Она пошла на компромисс: пусть в ее доме и будут романы, но только классические, и этому ее решению ее дети обязаны тем, что у них сызмала сформировался хороший вкус. Эдвин в семь лет уже зачитывался Диккенсом, Теккереем и Вальтером Скоттом, которые попадают в руки других детей много позже, и, отведав этой добротной пищи, находил других, меньшего дарования писателей, пресными и безвкусными.

У Эндрю было семеро детей, но он понятия не имел, как держать или как пеленать ребенка. Он родился святым, его делом были проповеди, и он был выше повседневных забот. Даже в собственном доме над ним витал дух отрешенности. Никому из его детей и в голову бы не пришло попросить его завязать шнурок или застегнуть пуговицу. Я слышала, как Керри, смеясь, рассказывала: «Когда я заболевала и ему приходилось немного помочь Ван Ама с детьми, это было смеха достойно. Он вечно водил их в одежках, надетых задом наперед. Они выглядели очень странно: сразу и не разберешь, пришли они или уходят!»

Он напоминал святого Павла, с которым его часто сравнивали, — человек до глубины души религиозный, преданный своему долгу, как он его понимал, провозвестник, в чем-то самоотверженный и бесстрашный, но совершенно неспособный снизойти до того, что его не интересовало. Для детей он всегда был почти абстрактной фигурой, существующей за пределами их мира. Он был очень строг с ними, в тех, конечно, случаях, когда вообще их замечал, и ревностно пекся об их праведности, но, поскольку он мало их понимал, ему все никак не

удавалось убедить их в том, что праведность — наилучшее достояние человека. Отстраненной добродетели отца они предпочитали материнскую порывистость, неожиданные вспышки гнева и столь же быстрое нежное раскаяние, ее тесные объятия, ее шутки и ее веселые глаза.

И все же, чтобы отдать должное Керри, надо заметить, что она ни разу в жизни не усомнилась в первенстве Эндрю и важности принятой им на себя задачи. Как ни раздражали ее порой житейские трудности, она, мне кажется, думала про себя, что в его мистицизме есть, что-то для нее недоступное, и ей с нами, детьми, остается только следовать за ним. Я смутно помню «отцовский Новый Завет», как мы его называли. Эндрю обладал тонким литературным чутьем и с давних пор был недоволен тем, как переведена на китайский Библия. С годами в его уме вызрела мысль самому перевести с греческого на китайский хотя бы Новый Завет. Он был превосходным знатоком греческого языка и, когда молился наедине сам с собой, всегда имел под рукой текст Библии на греческом и на иврите. Я помню поблекший позолоченный обрез карманного издания греческой Библии, которую он всегда носил в нагрудном кармане, не забывая переложить ее из снятого костюма в другой. Когда он уснул вечным сном и мы уложили его в могилу, мы поняли, что ему не будет покоя, если его перевод не останется с ним навсегда, и мы пристроили их бок о бок.

Он начал работать над этим переводом по вечерам и в короткие дни летнего от пуска, и с ходом времени на письменном столе в его кабинете все выше становилась стопка бумаги, исписанной его угловатыми китайскими письменами. Одним из членов нашей семьи стал сгорбленный от старости ученый китаец, который по просьбе Эндрю часто давал ему советы относительно стиля и построения фраз.

И вот настал день, когда работа была завершена и готова к печати, но на это не было денег, кроме разве что тех, которые мы могли выкроить из нашего скромного бюджета. Керри и Эндрю обсудили это: она думала о детях, он о своей книге. Она сказала:

— Подумай, Эндрю, ведь дети и так плохо одеты, куда же хуже; я и без того все латаю и перекраиваю, и мне не хотелось бы ограничивать их в еде.

— Я знаю, — с тоской и отчаяньем вымолвил он.

Она глянула на него, увидела, что творится у него на душе, и, помолчав, сказала:

— Что-нибудь придумаем. Каждый месяц будем откладывать по пять долларов и обойдемся тем, что останется. Я буду экономить каждый грош.

В него будто заново вдохнули жизнь, хотя с тех пор детям чудилось, что отцовский Новый Завет был чем-то вроде глубокого колодца, куда проваливались то игрушки, о которых они мечтали, то долгожданное новое платьице, то книги, по которым они стосковались. Сколько раз дети с надеждой спрашивали: «Мама, а когда папа кончит Новый Завет, мы сможем купить, что нам нравится?» Ее взгляд становился суровым, хотя они явно были здесь ни при чем, и она твердо отвечала: «Конечно. Каждый из нас сможет купить то, в чем он больше всего нуждается».

Но купить нам так ничего и не удалось, потому что она умерла прежде, чем Эндрю кончил нянчиться со своим Новым Заветом. Он публиковал издание за изданием, раз за разом совершенствуя текст, так что Новый Завет делал Керри все беднее и беднее. Он лишил ее и того узенького пространства, которое отделяет горькую нищету от элементарного комфорта и которое у нее раньше было. И все же она никогда не позволяла детям вслух выражать свое недовольство. Она сделала свой выбор и посвятила избранной цели свою жизнь, хотя порой ей случалось открыто бунтовать.

Для детей, впрочем, не составляло труда понять разницу между отцом и матерью. Когда Конфорт была маленькой, она долгое время не могла понять: почему отец каждое утро является к завтраку с тремя отметинами на своем высоком белом лбу. За утро они постепенно исчезают, но когда он первый раз садится за стол и склоняет голову, чтобы испросить Божьего благословения, они красные и очень четкие. Наконец она набралась храбрости и спросила Керри:

— Откуда у папы эти красные пятнышки на лбу?

— Это следы его пальцев, когда он кладет голову на руку во время молитвы, — назидательным тоном произнесла Керри. — Твой отец, встав с постели, целый час проводит в молитве.

Подобное благочестие порождало трепетный страх. Дети начинали искать такие же отметины на лбу матери и как-то спросили:

— А почему ты тоже не молишься, мама?

Керри ответила, и не без запальчивости:

— Если б я молилась, кто бы вас одевал, кто бы готовил завтрак, кто бы убирал в доме и учил с вами уроки? Когда одни молятся, другие должны работать.

Эндрю, на сей раз не настолько отрешенный, чтобы не услышать сказанное, смиренно заметил:

— Если б тебе удавалось выкроить побольше времени для молитвы, у тебя бы и работа спорилась.

Но Керри не сдавалась:

— А у меня и правда времени на все не хватает, — ответила она, — и Отец Небесный должен понять, что матери с маленькими детьми не до молитвы.

Керри и вправду никогда не молилась подолгу. Временами она молилась быстро и истово, но только делая какую-то работу, и всегда при этом испытывала невольную уверенность, что возносит свои молитвы, не получая ответа. Впрочем, на середине своего жизненного пути она намеренно сдвинула на обочину своей трудовой жизни бесконечные поиски Бога. Она никогда не была, да и не умела быть пассивной, но во что она действительно верила, так это в то, что должна по мере сил помогать ближним, каждому, кто оказался с ней рядом и нуждался в помощи, — своим детям, соседям, слугам, просто прохожим. Свою веру она под конец выразила всего в трех словах: «Надежда и послушание». Ей проще было верить не раздумывая — ну есть Бог, и ладно; она же будет жить так, будто он есть, и делами, которые имели бы общественный смысл, подкрепляла свою веру. Мне кажется, она ни в чем не была такой типичной американкой, как в своих сомнениях, в своей неуверенности во всем, что касалось вопросов веры, и в той чуткой восприимчивости и щедрости, которые составляли часть ее природы.

Эдвин сближался с отцом только тогда, когда Керри, придя в отчаянье от его неустанных попыток самоутвердиться, упрашивала Эндрю взять его с собой в поездку по стране. Они вдвоем покрывали большие расстояния на джонке и верхом на мулах, им приходилось делить пищу днем и вместе проводить одинокие вечера, когда вокруг не было ни единой родной души. Эдвин начал, наконец, понимать своего отца, и отцовская забота о людских душах впервые приобрела для него смысл и значение.

Влияние этих двух людей — отца с его радением о спасении души и матери с ее страстным желанием облегчить пребывание людей в земной юдоли — навсегда отвратило его от любых видов деятельности, имеющей своей конечной целью накопление денег. Материнский врожденный скептицизм, который она всю жизнь пыталась укротить усилием воли, укоренился в нем настолько, что он никогда уже не мог вернуться к миссионерству, но на нем сказывалось и некое неуловимое влияние, властно заставлявшее его ставить превыше всего человечность и всегда откликаться на нужды людей.

Тем временем Эндрю, как это случалось с ним не раз, пришел к заключению, что он должен пробраться еще дальше в глубь страны, где никто до него не нес людям Слово Божие, и он сказал Керри, что опять «услышал призыв».

Эго привело Керри в смятение. Она успела уже обжить этот

дом и двор. Здесь были цветы и хватало места всем ее детям; здесь они могли привольно жить и расти. Вокруг простирался темный город, но она привыкла к нему и сумела создать в центре его свой американский оазис. Она была из тех людей, которые на все накладывают отпечаток своей натуры. Ее сад, ее дом, ее рабочая шкатулка, ее стул — все обязательно становилось частью ее самой.

И еще до того как она пустила здесь глубокие корни, она приросла душой к здешним людям. У нее были ее подруги, китаянки, которых она привлекала своим умением выслушать их и сердечно откликнуться на их беды, а также тем, что позволяла побродить по ее дому и посмотреть на печки, швейную машинку, орган и прочие чужеземные чудеса. Керри научилась любить этих женщин, забыв о том, что они — представительницы другой расы и вышли из другой среды. К тому же со дня на цепь должны были приехать еще две белые семьи, и Керри жила в предвкушении того, что скоро приобретет новых друзей, одного с ней происхождения и воспитания. Но то, что привлекало ее, — привязанность к месту и к людям, у Эндрю, напротив, вызывало какое-то неспокойствие. Ему казалось, что здесь теперь будет слишком много миссионеров и ему пора возделывать новые земли.

Керри отговаривала его, умоляла, сердилась, даже всплакнула, но потом вдруг сдалась. К этому времени она уже знала, что если человек предал себя Господу, то, сподобившись услышать Его глас, он ни за что не отступится от своей цели. В ледяном молчании она упаковала свои пожитки, в который раз вырыла корешки разросшихся роз, а Ван Ама сложила вещи в мешок для спальных принадлежностей и в большую синюю сумку, и они снова были готовы тронуться в путь.

notes

Примечания

1

Mynheer (голл. букв. — «дорогой») — Предки Перл Бак были голландцами, поэтому в их семье бытовали подобные слова.

2

«Годис букс», «Пирсон мэгэзин» — популярные ежемесячные журналы. Первый считался одним из законодателей моды и хороших манер, второй был посвящен литературе, политике и искусству.

3

Боксерское восстание («Ихэтуаньское восстание») — народное восстание в Северном Китае в 1899–1901 гг. Было начато тайным обществом «Ихэцюань» («Кулак во имя справедливости и согласия»), позже получившим название «Ихэтуань» («Отряды справедливости и согласия»). В конце 1900 г. ихэтуани вступили в Пекин. Восстание было подавлено войсками Германии, Японии, России и ряда других стран под флагом защиты своих подданных.

4

Сассапариловая лоза (сарсапарель) — тропическое американское растение, корни которого издают приятный аромат.

5

Конфорт в переводе с английского означает «утеха», «удовольствие».